

СБОРНИК

Посиделки на Дмитровке

ВЫПУСК IX



Алла Зубова

**Посиделки на Дмитровке.
Выпуск девятый**

«Издательские решения»

Зубова А.

Посиделки на Дмитровке. Выпуск девятый / А. Зубова —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-933884-6

Девятый сборник «Посиделки на Дмитровке» включает самые разные произведения очень разных авторов, у каждого из которых своё видение мира, событий и истории, богатый жизненный опыт и встречи с интересными людьми — как весьма известными, так и самыми «простыми». А объединяет авторов сборника общая работа в секции очерка и публицистики Московского союза литераторов

ISBN 978-5-44-933884-6

© Зубова А.
© Издательские решения

Содержание

Лидия Александрова	6
Тогда крови уже не будет	6
Олег Ларин	12
Деревня, ты еще жива?	12
Алла Зубова	18
Бремя и слава его надежд	18
Лев Золотайкин	26
Мечты сбываются	26
Анна Кукес	36
Возвращение Генриха Бёлля	36
Ада Дихтярь	43
Сколько бы лет ни прошло	43
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Посиделки на Дмитровке

Выпуск девятый

Этот сборник авторы посвящают светлой памяти Лидии Ивановны Александровой

Владельцем копирайта каждого произведения является его автор;
Владельцем копирайта Сборника №9 Посиделки на Дмитровке является Владислав Ларин;

Использование материалов сборника возможно исключительно по письменному разрешению правообладателей;

С авторами и составителями сборника можно связаться по адресу электронной почты – posidelkinadmitrovke@gmail.com

Сайт Московского союза литераторов – www.mossoyuzlit.ru

Составитель Алла Зубова

Редакторы Тамара Александрова, Ада Дихтярь, Лина Тархова, Татьяна Поликарпова

Технические редакторы Владислав Ларин, Наталья Коноплева

Корректоры Владислав Ларин, Наталья Кайгородова

Иллюстрация на обложке из коллекции И.И. Ларина

ISBN 978-5-4493-3884-6 (т. 9)

ISBN 978-5-4493-3883-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Будучи председателем Московского союза литераторов, Лидия Ивановна оставалась членом нашей секции очерка и публицистики, принимая в ее жизни самое живое участие – в том числе и в подготовке сборника «Посиделки на Дмитровке». Брала на себя немалую долю организационной работы – сбор материалов, распечатку присланных файлов, перенос корректорской правки, «управление финансовыми потоками» – сбор авторских рублей, расчеты с издателем, получение тиража, раздачу книг авторам... Не перечислишь – рутина. Для литератора – это стон, напряг (наше дело – водить пером по бумаге), а Лидочка (так нежно называли ее «старожилы» по праву давнего сосуществования и неизменной любви) занималась такой работой спокойно, будто играючи. И это при лавине и срочных, и нервных председательских дел. И при заботах об атмосфере – воздухе жизни Союза. Здесь задавали тон ее интеллигентность и доброжелательность.

А водить пером по бумаге она умела не хуже многих. Мы знали, что Л. Александрова хороший журналист, и всякий раз, когда планировалась очередная книжка «Посиделок», настаивали: ждем ваш материал! Она тихо, деликатно отнекивалась: «давно не писала... не настроюсь...» Понимали: «не настроюсь в этой моей круговерти». Но такого, по сдержанности своей, не добавляла.

И вдруг, когда замаячил девятый выпуск, Лидия Ивановна сказала, что даст один текст. Успела...

Теперь читаем, волнуясь, этот прекрасный текст – главу из ее незаконченной книги.

Лидия Александрова

Тогда крови уже не будет (отрывок из книги)

Так уж устроено, что каждый период нашей жизни имеет свои приоритеты. На склоне лет из глубин памяти всплывает прошлое, и мы бережно перебираем образы дорогих нам людей, картины радостей и печалей.

Так что вполне естественными для моего Володи, мужа, были воспоминания о родной Кашире и о воспитавшей его замечательной бабушке – Марфе Никифоровне. В последние годы прошлое чаще замелькало в разговорах, что-то он писал и убирал в стол...

И когда я, наконец, собралась с духом и принялась разбирать архив Володи, то была уверена, что найду там что-то такое объемное, автобиографическое.

Но в очередной раз повторилась история про сапожника без сапог: нашлось всего несколько листочков с отдельными фразами, короткими сценками и общими рассуждениями. Я держала в руках листочки и понимала: это единственные оставшиеся живые слова, а я последний живой свидетель жизни дорогих мне людей.

Вот так написание этой книги – «Три поколения семьи Александровых» – стало для меня необходимостью.

...Так получилось, что переход Володи в 1985 году на «вольные творческие хлеба» совпал с началом перестройки в стране, когда генсеком КПСС стал Михаил Горбачёв.

Перестройка на первых порах связывалась с необходимостью совершенствования экономической системы; началось так называемое ускорение. А дальше пошли «гласность», «демократизация», «рыночные отношения» – события покатались, как снежный ком.

В феврале 1990 года ЦК КПСС объявил об ослаблении монополии на власть и начался «парад суверенитетов». Первыми декларацию о независимости приняли республики Прибалтики и Грузия.

А в декабре 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии юридически ликвидировали Советский Союз.

Мировая сенсация произошла очень буднично: вечером стоял несокрушимый Оплот коммунизма, утром проснулись – нет Оплота, одни только российские просторы и спины убегающих бывших свободных и, наконец, освободившихся республик.

То есть, весь свой период свободного творчества Володя находился в атмосфере глубоких перемен, сотрясавших страну.

Правда, начало перестройки не вызвало особых изменений в союзе писателей СССР, хотя руководство его было частично обновлено: нескольких стариков заменили на более молодых членов СП, да еще на открытии VIII-го съезда союза писателей СССР с первым секретарем правления, 76-летним Георгием Марковым случился казус, который Володе в письме от 5 июля 1986 года довольно иронично описал его друг, детский поэт Яков Аким:

«... Да, знаешь ли ты, что Марков произносил свой доклад всего минут десять, после чего у него случился какой-то спазм, и остальное читал Карпов (ТВ успело снять Маркова для программы „Время“), а Мокеича увели с трибуны, запихивая ему таблетки под язык. Правда, говорят, в тот же день он позвонил из больницы и пообещал через день занять свое место в строю (или на командном пункте, скорее). Вот они, наши Матросовы!»

Из своей глуши Володя ответил довольно меланхолично:

«... Историю с докладом Маркова я, конечно не знал. Сильно! Одновременно и „Обрыв“, и „Обыкновенная история“! Тоска.»

Между тем события нарастали. И письмо Якова Акима от июля 1988 года уже довольно пессимистично, особенно строчки его стихов:

«... Внимательно смотрел все репортажи о конференции... Последний день был чрезвычайно зрелищный. Особенно тяжелое впечатление производила реакция зала – как в прежние времена... Жалко было Григория Бакланова, он и выглядел измученным, ему не давали говорить, только Горбачёв настоял, чтобы не мешали. Михаил Сергеевич-то, надо сказать, был молодцом на этих заседаниях.

...Башку распирает какая-то пустая порода, хмурая к тому же.

Лавиною большого отступления —
Не роты, не полки, а поколение
Навеки отступает. Наш черед.
Как время года, отошла пехота,
Да и тебе пора сменить кого-то
В цепочке, прикрывающей отход.

Это вчера сочинилось. Первые строчки после нескольких лет глубокой немоты. Увы, не самые лучшие, мягко говоря.»

Речь в письме идет о XIX всесоюзной конференции КПСС, состоявшейся 29 июня 1988 года. Замечательный писатель-фронтовик Юрий Бондарев выступил на ней с критикой хода «перестройки»:

«...Можно ли сравнить нашу перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка?.. Я надеюсь, что консолидация литературных сил с трудом и преодолением возможна...»

Надежды Бондарева не оправдались. Уже в марте 1990 года было опубликовано «Письмо семидесяти четырех», направленное в верховные органы СССР и делегатам XXVIII съезда КПСС.

В письме доводилось до сведения властных структур, что под знаменами объявленной «перестройки» и «демократизации» в нашей стране «разнуздались силы общественной дестабилизации»; идет «разнузданная травля и шельмование коренного населения страны, охаивание его успехов и достижений».

Письмо подписали известные советские литераторы: Пётр Проскурин, Леонид Леонов, Станислав Куняев, Валентин Распутин, Александр Проханов, Егор Исаев...

Один из критиков так оценил противостояние, сложившееся в литературе: «Перестройка – птица о двух битых крылах. Одно – деревенское («заединщики»), другое – западничское, либеральное...»

Бежать, а не бороться, подметать, а не строить, хранить, а не творить – вот уродливые плоды деревенской прозы...

Зачем нам новый, живой, динамичный, меняющийся русский язык? Есть же древнерусский...

Разница с так называемыми либералами в образе действий не так уж и велика... Те паразитируют за счет материальных богатств, недр и людского ресурса. Почвенники – за счет того, что сделали и накопили другие... И, хотя деревня – сердце России, живут все страдальцы в городе».

После распада СССР Союз писателей, в том же 1991 году, разделился на множество организаций в странах постсоветского пространства. Основными преемниками СП СССР в России и СНГ выступили: Международное содружество писательских союзов (которым долгое время

руководил Сергей Михалков), Союз писателей России (СПР – «патриоты»), «демократический» Союз российских писателей (СРП), к которому примкнули и Володя, и его ближайшие друзья, в том числе и Яков Аким, а также союз писателей Москвы..

Когда весной 1990 года мы с Володей и внуком Антоном приехали в свой родной литовский хутор, то, в общем-то, оказались уже в другой стране. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозгласил независимость Литвы. На территории республики было прекращено действие Конституции СССР и возобновлено действие литовской конституции 1938 года.

Литва первой вступила на путь утверждения своей независимости и приняла на себя всю злобу советского режима.

Правда, еще до приезда в Литву Володя получил письмо от Казиса Марукаса, нашего друга, писателя:

«Дорогой мой милый Володя, за Тебя я ручаюсь, не волнуйся, таким русским, как Ты – в Литву ворота всегда открыты. Нежелательно таких русских, которые не имеют свою родину... Жду тебя 3 апреля, это будет понедельник. Опять будем топить печку, слушать птиц, рыбачить и обязательно пойдем к Томашюнису на пиво домашнее, и обязательно истопим баню. Вот так».

Еще позже Марукас пишет со своим особым юмором:

«Мой дорогой Володя,

Я всегда был в подполье, уверяю Тебя и всех: литовский народ никогда не нападет на своих соседей. А Ландсбергис – другое дело. Он сейчас жрет горох, его живот набухает и будет нападать на русских собственным газом. Так что приготовьте противогазы...»

Между тем Горбачёв официально потребовал восстановить на территории Литвы действие Конституции СССР. Непослушание грозило вводом войск. А пока продолжалась энергетическая блокада Литвы, были прекращены поставки нефти, активизировались коммунисты Литвы и воинские части, остававшиеся на территории республики.

11 января 1991 года советские военные начали патрулировать улицы Вильнюса, взяли под контроль Дом печати и другие ключевые общественные здания. В ночь на 13 января в Вильнюс вошли советские танки. Жители города начали строить баррикады. Первая колонна танков прошла по улицам и вернулась в свой лагерь. Но следом появилась вторая колонна танков, которая двинулась к телебашне. Вот там и произошли основные трагические события тех дней.

Люди встретили танки «живым щитом». Итог сражения у телебашни – 14 убитых и сотни раненых. Советские военные заявили, что они стреляли холостыми патронами, и обвинили в жертвах сторонников независимости Литвы тем более, что среди погибших оказался боец российской «Альфы».

И впоследствии никто из должностных лиц и военного командования не взял на себя ответственность за провокации и жертвы в Вильнюсе и в других городах. Михаил Горбачёв заявил, что он ничего не знал об этой операции.

Из письма Володи к Якову от 12 апреля 1991 года:

«... В Литве хорошо. Все здесь приветливы, на меня смотрят, как на музейный экспонат. – Господи Владимир, вы снова у нас! И слава Богу! А в Москве как?..

...Все никак не решусь (и не решусь) пересказать вам с Аней всю видео – хронику, которую здесь, в Вепряй, показал мне Викторас Красаускас: хроника 11—13 января с.г.

Скажу только, что нам по ТВ не показали ни-че-го;

что я плакал и меня Викторас с женой успокаивали;

что было стыдно говорить о себе, как о русском человеке;

что народ и правительство едины и будут держаться до полного освобождения;
что надо ничего не знать о народе вообще, чтобы надеяться на «комитет нац. спасения»,
не выйдет;

что все видео-хроники тех дней в Литве должны увидеть во всех республиках, тогда
крови уже нигде не будет;

что, когда была опасность захвата армией Вильнюса, роль города-отца в ту же секунду
подхватил Каунас. Да как подхватил! В 2 или 3 часа ночи (13 янв.) по каунасскому ТВ попро-
сили всех жителей города (с детьми, значит) выйти на улицы: чтобы гарнизон и армия ничего
не посмели; народа все равно больше... и вышли!!;

что пожилые люди вели себя даже ярче, чем молодежь и среднее поколение...

Словом, слава Богу, что все это видел уже весь мир. Видеокассеты переписывают и на ТВ,
и друг у друга.

И еще. Оказывается, Литва первой стала отправлять продуктовые посылки бастующим
шахтерам, в частности, в Кемерово. Даже хуторяне (!) сало отправляют, концентраты. Отправ-
ляют с короткими, в характере народа, записками...

Скоро все это Лида увидит.

(Написал все коряво и чужим почерком, потому что волнуюсь и кровь отошла от головы
в пятки, наверное)...»

А в конце лета, того же беспокойного года, танки появились уже на улицах Москвы.

Утром 19 августа 1991 года радио сообщило, что Горбачёв, находящийся в отпуске
в Крыму, не может выполнять обязанности президента по состоянию здоровья. В этих усло-
виях руководство страной берет на себя Государственный Комитет по чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП).

Три дня продолжалась нелепая попытка переворота. В Москву были введены войска
и бронетехника. У Белого дома собралась огромная толпа защищать правительство. Строили
баррикады. При попытке остановить танки погибли трое юношей.

Утром 21 августа Горбачёва «освободили» и он прилетел в Москву, а членов ГКЧП аре-
стовали. И те же танки, которые двинули на народ, уже стояли на охране Белого дома.

Эти события подтолкнули СССР к развалу, а Литва три дня провела в напряжении, для
нее победа ГКЧП имела бы самые непредсказуемые последствия (в худшую сторону).

«... По порядку не могу. Как прошли 19 и 21 авг.? Страшно настолько, что Лида ни о чем
меня в эти дни не спрашивала. Только сказала: «Как скажешь, так и поступим».

За это я ей и благодарен. А 22 августа все литовцы окрестные приходили нас, четверых
(русских), поздравлять. И почти все говорили одно и то же: через 15 минут после падения
вашего Белого Дома нас уже не было бы. Литва перестала бы существовать...

Можешь себе представить, я принимал поздравления тихо, но с внутренней гордостью.
Громко принимать мешала совесть – ведь меня не было в Москве, что я и говорил всем литов-
цам.

А сосед, который строит дом, даже устроил в нашу честь вечер у своего недостроенного
дома. «Ведь в эти три дня я понял: мне уже никогда ничего не достроить. Россия спасла всех
и меня».

...А накануне, 10—12 августа, нас все-таки пригласили на литовскую свадьбу. Поехали
вдвоем с Лидой. Хозяева не знали точно, приедем ли мы и жених, Ромас, сказал: «Я бы за вами
все равно поехал!» (А это 140 км...) Когда увидели нас, вылезаящих из автобуса, всей свадьбой
пошли нам двоим на встречу... Мы не удержались и оба расплакались.

Свадьба была по всем литовским обрядам, прекрасна, как жених и невеста. Три дня мы
там гуляли. Было много трогательного, например, руководитель свадьбы, блистательный дядя
жениха, вдруг объявляет:

– Литовцы, встаньте!
Встало 70 человек.
– Дзуки, встаньте! (это ветвь литовского народа, одна из пяти).
58 человек встало.
– Русские, встаньте!
Два человека встало – мы с Лидой!
– Москвичи, встаньте!
Два человека снова встали – мы.
А всего на свадьбе оказалось 72 чел.

А вообще это рассказ отдельный, и у Лиды он получится (в Москве) лучше. (Считалось, что у Володи память очень эмоциональная, зато я лучше помнила детали – Л.А.).

И вот после такой высокой ноты, прекрасных дней и ночей, душевного нашего взлета, наступило 19 авг. Если бы не ловили «Свободу» и в ночь на 21 – «Эхо Москвы», не знали бы вообще ничего из правды событий...»

1991 год. Миновали тревоги января и августа, когда советская власть душила Литву, а потом боролась сама с собой в образе ГКЧП. И закончился год совершенно фантастически – в декабре рухнула сама эта власть.

«Великий и могучий» упал, как червивое яблоко с ветки, без бунтов и кровопролитий, одним росчерком пера. Ни один патриот не вышел на защиту.

Начался 1992 год. 22 мая мы всей семьей – я, Володя, Алена, Антон – приехали на свой облюбованный хутор Шалишки.

Письмо Володи Якову от 4 июня 1992 года:

«...Открыли купальный сезон 1 июня. Вода 20...

...Был трое суток на днях в Вильнюсе. Для Марукаса полная неожиданность. Расплакались. Я приехал в 10.30 с хутора, он со своего хутора в 14.00, не сговариваясь. Достал он из загашника бутылку вина «Виорика». 30 гр. выпил я, остальные 720 гр. – он. Говорили, говорили. Большой специалист по лечению инфарктов. Два у него было и два предынфарктных. Так что сошлись коллеги!»

Выражение «сошлись коллеги» имеет в виду, что за два с лишним месяца до того Володя тоже перенес инфаркт. Поэтому и пригубил он только 30 грамм вина, а Марукас, за давностью своих болезней, уже решился на большее. Поэтому и пишет Володя в том же письме, что «... всю работу взвалила на себя Лида. Мне придется месяц-другой потерпеть. Дал Лиде слово «не встречать». А что поделаешь?!» И дальше: «... Долго не брал ручку в руки, кажется, заново учусь ею пользоваться...

...Чего хочется? А самого простого: чтоб о торговле речь не шла. А текла бы беседа устно и письменно обо всем позабытом, о природе в каждом из нас и в детях; о природе, как таковой, она не бывает будничной. Это мы можем быть будничными и скучными. Да что говорить! Не хочется пустых слов, которых, несомненно, стало много больше вокруг...»

Все эти мысли – нащупывание Володиных подходов к конкретной работе. А еще след недавней болезни обострял восприятие чуда окружающей природы. Из письма к Якову Акимову от 16 июля 1992 года:

«...Сушим липовый цвет. Аромат в комнате редкий, ни на что не похожий. Где природа берет такое разнообразие всего? Непостижимо. Только теперь могу, кажется, понять поведение какой-нибудь бабочки или мухи! Если день у Бога мог равняться тысяче лет, то их краткие миги в мире цветов и запахов как бы что-то обратное, но такое же плодотворное, насыщенное.

В общем, не знаю точно, что хочу сказать. Гармония еще не постигнута. Всего со всем гармония. Человек, наверное, выпадает из нее все больше со своими знаниями.

У Бога всего много. На этом и сойдемся!

В общем надо думать. Уж больно серьезно все и с бытом рядом. А начинается всего-то с липового цвета. Липа цветет!..

...Лето перевалило зенит и в 22 часа темно (у вас 23 часа). Соответственно и настроение темнеет, как быстро все кончается...»

25 ноября 1992 года Володя умер от нового сердечного приступа в возрасте 58 лет. Он был полон замыслов. Жизнь оборвалась в самый разгар работы.

© Лидия Александрова, 2018

Олег Ларин

Деревня, ты еще жива?

Снежная буря грянула, как гром с ясного неба. Снег завалил всё Ряполово. Был бы ноябрь или начало декабря – можно понять, а тут посреди бабьего лета, когда деревья еще не успели сбросить едва пожелтевшую листву, разразилось бог знает что.

Мой семидесятилетний сосед Валерка, казалось бы, начисто лишенный возвышенных чувств, распрягая свою лошадку Майку, бойко декламировал: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Это, пожалуй, единственные строки, какие он помнил наизусть из школьного детства. И вызвала их в Валеркиной памяти сваленная шквальным ветром – почти перед самым домом – столетняя береза, оборвавшая электрические провода. Свет в деревне погас, обесточились плитки, обогреватели, телевизоры. К этому следует добавить: если для местного жителя, типа Валерки, это явление как укусы комара, то для нас, избалованных дачников-москвичей, – полный карачун.

Первое время, надо признать, мы даже дивились «проказам матушки-зимы», но постепенно языческий восторг плавно перешел в уныние, потом в отчаяние: снегопад с ветром не прекращался, переходя в тоскливо шелестящий дождь. Связь с внешним миром прервалась, проехать до сельской администрации можно было разве что на тракторе, да и то заплатив трактористу не менее тысячи рублей. Аппетит у здешних водил, как я неоднократно убеждался, давно перерос аппетиты столичных таксистов.

Я мысленно представил себе свою приятельницу, известную журналистку, обитающую в соседней деревеньке Абросьево. Сидит, должно быть, несчастная, как Папанин на льдине, в двух шерстяных кофтах, без света, без чая, без ТВ-эфира и проклинает меня за то, что убедил ее когда-то купить продуваемую насквозь халупу, переделанную впоследствии в некое подобие коттеджа.

«Дрова и свечки есть?» – спросил я у подруги по мобильнику. «Есть... есть», – было сказано таким тоном, будто я вмешивался в сугубо личную сферу ее жизни. Оказалось, именно благодаря снежной буре у нее появилась возможность закончить очередной опус для альманаха «Посиделки на Дмитровке». «Тебе что, делать нечего? Не мешай работать! – довольно агрессивно заявила она. – Из-за тебя теряю сюжетную нить!»

Грешным делом, я подумал о том, что и мне пора бы взяться за перо, хватит отлынивать. Именно в такие – непогожие – дни, если верить авторам мемуаров, рождались шедевры мировой классики – «Война и мир», «Бесы», «Архипелаг ГУЛАГ», не говоря уж о стихах, коим несть числа. Пора, давно пора взяться за свое не вполне научное исследование, которое я задумал еще в Москве и условно назвал «Деревня, ты ещё жива?». Имеется в виду не только мое Ряполово, но и вообще вся костромская глубинка, о которой одно кремлевское лицо пафосно объявило, что она «обладает гигантским потенциалом в сельском хозяйстве».

Ничего себе «потенциал», если отовсюду разбежался народ! Если в 90-х годах, условно говоря, в деревнях проживало по 50—100 человек, то теперь осталось только два: бабка и дедка, которым бежать некуда. Зато земли кругом – завались, бери – не хочу. Это вам не Подмосковье, где за 15 соток предлагают 300 000 рублей! Мы самые богатые в мире, говорит статистика. У нас самая большая пашня в мире! Мы можем производить такое количество продовольствия, что очередь за ним выстроится аж до самого Гибралтара... А по качеству жизни на каком мы месте? Стыдно сказать, в седьмом или восьмом десятке.

У Достоевского есть такие слова: «Если хотите переродить человека к лучшему, почти что из зверей наделать людей, то наделите их землей – и достигнете цели». Благие, но сей-

час уже бесполезные пожелания. Давно канули времена, когда крестьянин-хозяин стремился заполучить землю. По крайней мере, наивно звучали недавние речи кандидата в президенты Григория Явлинского о том, что «каждому гражданину России в европейской части страны нужно выделить 30 соток земли, а за Уралом – до 60». Конечно, надо вернуть людей на землю. А как быть с коммуникациями? Ведь голая земля без инфраструктуры, без жилья, дорог, газа, школ, детсадов, больниц никому не нужна. Городские неопиты, возможно, клюнули бы на эти обещания, но сельского мужика из глубинки не проведешь. Изверился он окончательно и бесповоротно...

Память человеческая коротка, но в памяти подсознательной генетической всё живет очень и очень долго. Двадцать шесть «коренных обновлений и преобразований» пережили доверчивые селяне в советские времена! Вспомним некоторые из них, начиная с 50-х годов XX столетия: урезание личного подсобного хозяйства... запрещение косить сено на лугах для личного скота... насильственное внедрение кукурузы в нечерноземных областях... распашка полей до уреза рек и водоемов... запрет на черные пары и травопольную систему... внедрение уравниловки независимо от результатов труда каждого работника... и, наконец, у колхозников стали отбирать паспорта, чтобы никто не смог удрать в город. «Серпастые-молоткастые» они стали получать перед Московской Олимпиадой вместо филькиных справок от сельсоветов.

Немалую лепту в формирование характера сельского жителя внесли «заливные песельники» – уполномоченные разных мастей и калибров, попросту говоря, партийные чинуши из обкомов, райкомов, райисполкомов. Играя коммунистической лексикой, усердствуя в пропагандистском рвении, они, по сути дела, превратили места обитания людей в неприглядные трущобы из лопухов, крапивы и жизнерадостных колючек.

Председатель ряполовского колхоза имени XX партсъезда Пономарёв бросил клич: будем строить крупнейший в северном Нечерноземье механизированный мясомолочный комплекс с высокими надоями и низкими затратами труда. Хваткий, надо сказать, был руководитель, тертый и оборотистый, с располагающей внешностью провинциального говоруна, и дело свое знал, и областное начальство чтит в меру, не впадая в лакейскую угодливость, и внешне держался как свой в доску парень. Пономарёв обещал селянам большие трудодни, белые халаты и чистоту в производственных помещениях, отдельные коттеджи с городскими удобствами. И изверившийся было мужик, клюнув на очередную «сказку», сдвинулся с орбиты, оторвался от почвы, налаженного быта, традиций и пошел через пень колоду ломать свою судьбу во имя неизвестного будущего. И потянулись ряполовцы к центру сельсовета Кузнецово, поближе к строящемуся агрокомплексу, который должен был, по мысли обкома, «воплотить коммунистическую мечту в зримый образ».

Комплекс построили. Внешне – очень солидное сооружение, всё честь честью. Но вот уже почти 20 лет оно не функционирует. Лежат вповалку бетонные плиты, оплетенные травами-сорняками и худосочными осинами.

С большим интересом я ознакомился недавно с отчетом, третьим по счету, Международной научной конференции Угорского проекта (моя малая родина – деревня Угоры) во главе с видным экономистом и социологом Н. Е. Покровским. Задача была поставлена конкретно и в упор: что есть современное российское село Ближнего Севера, можно ли понять, что будет с ним дальше, обречено ли оно на вымирание или начнет возрождаться на принципиально иной основе. Были обследованы деревни и села Московской, Ярославской и Костромской областей. Конечная цель исследований – некогда вполне зажиточная деревня Медведево Мантуровского района Костромской области. Нужно было выяснить, жива ли еще деревня, теплится ли в ней энергия?..

Что же увидели ученые? От былой советской сельскохозяйственной стабильности, которая поддерживалась немалыми бюджетными вливаниями, здесь остались в прямом смысле

одни развалины. «Стены пустых коровников с неизменными русскими словами, заброшенный машинный двор, пять обитаемых домов из бывших сорока, закрытые библиотека, медпункт, автолавка вместо сельпо. А вечером – ни огонька, ни звука телевизоров или „одинокой гармонии“, ни доносящегося с молочной фермы гудения аппаратов машинного доения». И главное, что особенно поразило ученых-аграрников: посевные площади всех сельхозкультур сократились в Костромской области просто катастрофически – в 3,2 раза по сравнению с 1990 годом. (Учтите, это данные 2010 года). С ядовитым сарказмом экономисты приводят выдержку из районной газеты, которая сообщает с гордостью, что СПК «Подвигалихинский» засеял овес на площади... 400 гектаров. А о том, что еще совсем недавно площадь посевов в этом же кооперативе составляла несколько тысяч гектаров, газета, разумеется, умалчивает...

Я пишу об этом с горечью и без всякой подковырки. Вообще, мое писание совсем не политическое, а скорее, морально-нравственное. Политика – занятие людей, с которыми я не нахожу в себе ничего общего. Согласитесь, на трех каналах отечественного ТВ постоянно беснуются люди, о которых я еще в студенческом возрасте читал в романе Оруэлла «1984» (особенно на тех его страницах, где описываются «двухминутки ненависти»). Выпученные глаза, раздутые ноздри, истеричные вопли по любому поводу, заведомый обман под личиной правды. А некоторые еще ностальгически вздыхают об ушедшей эпохе, где коммунизм сиял ангельской чистотой и ГУЛАГ был его колыбелью...

Когда-то я прочитал у писателя Виктора Астафьева об одной сибирской (из личного опыта могу добавить: костромской, ивановской, владимирской, вологодской) деревушке с покосившейся дырявой силосной башней, с косо торчащими кольями огородов и полуразрушенной скотофермой. Здесь еще худо-бедно, в тишине и покое, проживали люди, главным образом, пенсионеры со стажем... Но «вдруг эту сонную тишину на куски разрывает резкий яростный трезвон... Долго, дико и устрашающе, будто сигнала о наступлении кары небесной, звонит школьный электрзвонок, который остался включенным и на который никто, кроме ворон, не реагирует... Эту школу никто не закрывал. Она сама собой опустела – не стало в деревушке детей, разъехались учителя, остыли и потрескались печи; кто-то с улицы разбил стекла в окнах... Двери в школе распахнуты, некоторые сорваны с петель, по снегу шуршат разлетевшиеся тетрадные листы с красными отметками. Над воротами треплет ветром изорванный праздничный плакат, лоскутки от портрета вождя мирового пролетариата... А парты в классах всё стоят рядами, учеников дожидаются, и классные доски висят на стенах, слегка потускневшие, на одной написано: „Колька – дурак“, на другой: „Светка – дура“ ... Через каждые сорок пять минут трезвонит по едва живому селу, по опустелой округе школьный звонок, как бы извещая население о начале апокалипсиса, проще говоря, о конце света. Но скоро электричество от деревушки отцепят, и звонок умолкнет».

Примерно такую же картину мог бы застать и я, если бы приехал в Ряполово на пять-семь лет раньше. Только на том месте, где стояла когда-то школа-семилетка, не сохранилось даже кирпичного фундамента. Не осталось воспоминаний и о колбасной фабричке, которую основал оборотистый мужик Василий Иванович Харламов. За год с небольшим он завалил своим сырокопченым товаром не только ближайшие деревни, но и саму Кострому. (Вот тебе и утверждение К. Маркса, что «крестьянин есть непонятный иероглиф для цивилизованного ума»!) Правда, хозяйствовал он недолго: приезжие коммуняки закрыли «лавочку», а самому Харламову пришлось прятаться в лесной глуши, чтобы избежать встречи с ГПУ.

В 1928 году село Ряполово (тогда еще считалось селом) упоминалось в постановлении ВЦИК под личной подписью И. И. Калинина, а жителей на ту пору насчитывалось «мужчин 103, женщин 131». Шестьдесят ряполовских домов и прежде жили вполне сносно, а тут в середине 20-х мужика словно прорвало: кто кого обскачет по производству ржи, ячменя, мяса, молока, льна, меда. У Черного омута, что на речке Меза, где когда-то любил охотиться поэт

Некрасов, встала водяная мельница. Под руководством волостного старосты Павла Фёдоровича Фёдорова ряполовцы сообща отремонтировали церковь Рождества Богородицы. Большой медный колокол, отлитый на деньги местных прихожан, благовестом гудел на десятки верст. Ничего привозного в деревне не было, но всего хватало: одних молокосдатчиков насчитывалось 96 человек, излишками мяса торговала треть деревни. Как пчелиная матка, лавка-магазин купца Грызлова был облеплен бочками с рыбой разных пород и засолов, мешками муки, листами кровельного железа, ящиками с мелким скобяным товаром.

Образцом сытости и довольства подошло Ряполово к началу 1930 года, когда по соседству, в Абросьеве, начал раздувать пары бедняцкий колхоз «Броневик» с двумя десятками зычных глоток и парой тощих коров. А с другого фланга, из Михайловского, соловьем разливался «Боевик», заманивая доверчивых крестьян в свой коллективистский рай. И не устояло Ряполово перед таким соблазном – стало называться «Новой жизнью». Понаехало уездное начальство, известное своими сварами и угрозами, закрыло лавку, колбасную фабричку, сыр-завод. Лучших хозяева вырубали коллективизацией, других заставили разбежаться по городам и стройкам, а остальные примолкли, вернувшись, по сути дела, в состояние нового крепостного права...

Вспоминаю, как ряполовский мальчишка Вовка Набатов (сейчас это мужик – будь здоров: бригадир строителей в Костроме) удил рыбу из бочки с дождевой водой. Наловил карасиков в пруду, где стояла когда-то лавка купца Грызлова, вывалил их в бочку и решил проверить, будут ли они клевать снова... И что поразительно: клевали, как миленькие клевали! До чего же глупая рыбешка! Ну ведь попалась уже на крючок с наживкой, разорвала себе все жабры – остановись, казалось бы, одумайся в ненасытном своем инстинкте. Так нет, толкаясь, как бабы в очереди, карасики в слепой доверчивости снова шли на червяка, снова трепыхались в воздухе, пялили в отчаянии глаза и плюхались в кадушку с дождевой водой...

Я тогда подумал о том, что колхозники в чём-то сродни этой простодушной рыбешке. Обидная аналогия? Несправедливая участь? Это как сказать, смотря в какую сторону повернуть. Ведь в жизни всё так перемешано. Природа крестьянина раскрывается в единстве далеко расходящихся, часто противоречивых черт, и покрыть их общим знаменателем невозможно. Уж сколько раз его обманывали сладкими посулами, обещаниями райской жизни в самом ближайшем будущем, но жить становилось всё хуже и хуже. А крестьянин – как тот карасик из бочки. Он всегда верил или делал вид, что верит. Покупался десятки раз на дешевую наживку и продолжал выполнять отведенную ему функцию.

Однако обманывать можно тех, кто сам хочет обмануться или кому выгодно быть обманутым. Одни крестьяне поняли, какую игру затеяли с ними верхи, плюнули на всё, работали через пень колоду, спусти рукава. И жили себе, поживали, держа про запас немудрящую половицу: назови хоть горшком, только в печь не сажай. («Колхоз делает вид, что нам платит: мы делаем вид, что работаем...») Другие превратились в ловких, хватистых приспособленцев с несмываемой печатью совка. Жадные до дармовщины, это они кричат сегодня недавнему прошлому: не пропади ты пропадом, а появишься ты снова! И, наверное, прав был Оскар Уайльд, когда писал, что есть только один класс людей, более алчных, чем богатые, – это бедные... Третьи – из новоиспеченных пенсионеров – копались в своих огородиках, чтобы только зиму перезимовать и лето перелетовать, без привязанностей к упорному крестьянскому труду. Зато на тех, кто пытался оживить эти полудохлые подзолы, эти трущобного вида подворья без петушиного крика и запахов свежего навоза, смотрели как на своих личных врагов. Главное для них: не живи лучше меня!.. Четвертые до чертиков спились, обленились, превратились в заурядных роботов-трудяг... Пятые... Эх, да что тут говорить!

Брошенные поля тем временем зарастали нежитью поганой, лес наступал на сенокосные уголья и пастбища, глушил культурные травы. Там, где шумели и полнились добром деревни,

теперь стояли пустые избы под ненастным небом, брошенные в грязи трактора, продуваемые навывлет коровники с орущим от голода скотом. Ну а те, кто оставался на земле, ни во что не вмешивались, ни во что не вникали: день прошел – и ладно. Иные даже бахвалились: хоть и бедно живем, зато сами с усами, нас не трожь, и мы тебя в обиду не дадим. Были бы еще престарелые, можно понять, а то ведь здоровущие, с воловьими ручищами мужики, кровь с молоком. Коровы у них доились, как козы, а картошка родилась, как орех. Деревня словно вышла из берегов, как весенняя Межа с ее опасными руслами, прижимами, перекатами, с ее завихрениями и подводными течениями, несущими грязь, мусор, кору, накипь. И страшней всего то, что хотя сельчане более или менее отчаялись в этой жизни, но их отчаяние было какое-то тихое и скорее всего равнодушное, притерпелое. Платят – и ладно: как все, так и мы. Стадная психология! Помните, в Екклесиасте: «Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно находит на них»?

Вот и на ряполовских мужиков нашла пьяная пагуба, да так крепко привязала к себе, что боже ты мой. Нельзя сказать, что раньше здесь много пили: нет, деревня никогда не слыла притоном для расхристанных ханыг. Пили согласно установленному чину: гуляли на Рождество, Масленицу, Пасху, потом прибавился Первомай, День Победы и так далее. На Петров день семьями ездили в Екимцево, на зимнего и вешнего Николу – в Хорошево (где это селение, я не знаю; память о нем почти выветрилась). На Ильин день – в Абросьево, Казанскую Божью Матерь справляли в Белой Реке, Преображение – в Деревеньках, а Вознесение – в деревнюшке Баран.

По праздникам, бывало, мужики дрались – стенка на стенку, по всем правилам деревенских, поистине рыцарских турниров. Бабы, известное дело, судачили, хороводы водили да срамные частушки орали. Мудрые старухи, забравшись на печь и собрав вокруг себя ребячью мелкоту, сказки-побаски сказывали, былины, небылицы и заговоры. Раскрепощенная душа крестьянина была погружена в эти праздники, как в материнское лоно, и вместе с другими родственными душами ощущала себя как некий орден со своим неписанным кодексом морали. Словом, гуляли в Ряполове, как говорится, на приволье времени и просторе веков, в чистой, вольной, здоровой среде.

Но после оттока большинства жителей в Кузнецово стали пить, не дожидаясь праздника, по поводу и без повода: с утра врезал – целый день свободный. В форменных алкашей, хапуг, прохвостов вырождались потомки некогда славных ряполовских фамилий. Пьяный гудеж в деревне набирал обороты.

Дядя Миша Пухов, мой сосед, и пасечник Алексей Васильевич Селиверстов, ныне оба покойные, рассказывали мне, как хоронили здешнего бригадира. Как-то набрался он «под Октябрьскую» на колхозном активе, но показалось, мало, а домой идти неохота. Решил пошукать по родственникам и знакомым – может, кто поднесет стопку? Ходил по ряполовским домам, даже в Абросьево забрел, и всюду канючил, унижался. А на подходе к своему подворью вспомнил, что в хлеву лежит заначка с остатками браги. Какой бес попутал бригадира, он уже не скажет, но бражку он вылакал вместе с дрожжевой заправкой – густой желтой жижей, оставшейся на дне десятилитровой банки. И всё – смерть!

Хоронили его по-быстрому, без отпевания и неизбежного по такому поводу нашествия родни и начальства. Покойник сутки пролежал в тепле, с трудом поместился в наспех сколоченной домовине. А как на кладбище пошли – тут всё и началось. Несут мужики гроб и слышат: трык... трык! Будто доски гробовые потрескивают, будто ворочается бригадирово тело в тесной камере. И юшка желтая с винным запахом снизу каплями набухает. Чертовня какая-то! Оробели мужики, казалось, войну прошли, всякого навидались, а тут вроде как мертвец оживает. Не растерялся один Миша Пухов. «Бегом, ребята!» Прибежали на кладбище, быстро зарыли тело, приняли по стакану и тут только начали приходить в себя... «Бражка

проклятая... она во всем виноватая, – призналась потом вдова. – Он ведь ее вместе с дрожжами ухайдакал...». А дрожжи, как известно, имеют обыкновение бродить и искать выход из замкнутого пространства.

...Над деревней долгое время висела туманная кисея, устало тенькал ситничек по стеклам, разбрызгивал грязь перед входом в дом. За окном угасал короткий осенний день.

В темных, скособоченных избах Ряполова было что-то от застывшей, прекратившей свой бег жизни. Как озябшие, нахохлившиеся птицы, выстроились они на покато взгорье и поскрипывали деревянными суставами. Ни людских голосов, ни лая собак, ни звяканья ведер у родника. И только охрипшая ворона на березе, уныло шелестящий дождь да редкий дымок над крышей говорили о том, что жизнь еще продолжается.

В сенях вдруг хлопнула дверь. На пороге возникла фигура соседа.

«Что ж ты впотьмах-то сидишь?» – услышал я его голос. Он повернул выключатель, и изба засияла. Заработали телевизор и электрообогреватель. Валера не стал ждать милостей у природы: сбегал на подстанцию, отключил рубильник, отыскал «когти», залез на столб и соединил оборванные провода. Находка-человек! Уж сколько помоев вылили на него здешние старухи, сколько его косточек перетерли острыми, наждачными язычками, а пришла беда – и вся надежда на него, единственного мужика, последнего крестьянина полувывершей деревеньки Ряполово.

Таких искусников, как Валера, надо еще поискать. При необходимости он может заменить шофера, тракториста, столяра, электромонтера, конюха, печника, дояра. Кроме всего прочего, природа одарила его такими патриархальными навыками, как пахать конным плугом, вить веревки, гнуть дуги, чинить сбрую, валять валенки, перегонять смолу, вязать рыбацкие сети. Вслед за Козьмой Прутковым он мог бы повторить: «Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя». А если выразиться точнее, Валерий Гаврилович был специалистом узкого профиля и одновременно мастером на все руки.

Сосед явился ко мне не один, а с «Афоней» – пластиковым полуторалитровым сосудом с невероятно глупой, но обаятельной рожицей на этикетке. Это, наверное, для того, чтобы поддержать мой угасающий дух. Напиток по вкусу напоминал дешевый портвейн, но выше градусом и ниже качеством. Не знаю, смог бы я осилить его в другой обстановке, но здесь он прошел как награда за мои серые, тупые дни.

Спасибо тебе, «Афоня»!

© Олег Ларин, 2018

Алла Зубова

Время и слава его надежд

Прежде чем рассказывать о моих встречах и беседах с Иннокентием Смоктуновским, приведу несколько строк о нем известного критика Александра Свободина: «Время потребовало актера-интеллекта, актера повышенной чуткости, умеющего и любящего передавать течение и сложность мысли... Смоктуновский воплощает не только образ человека, но и черты времени... игра души и тонкая осмысленность глубоких чувств – его художественные сильнейшие средства... Смоктуновский играет самое трудное – блестящий ум!»

* * *

В середине 70-х годов Иннокентий Михайлович Смоктуновский приходит во МХАТ, где Олег Ефремов ставит чеховского «Иванова». Главную роль играет Смоктуновский, предводителя дворянства Лебедева играет Андрей Попов. Оба народные артисты СССР, оба новички на сцене Художественного театра, оба «расквартировались» в одной гримборной. И вскоре крепко подружились. Теперь Иннокентий Михайлович стал нередким гостем в доме Андрея Алексеевича Попова и его жены Ирины Владимировны Македонской. Здесь-то и выпадет мне счастье довольно близко узнать Смоктуновского, беседовать с ним, а вернее, слушать его доверительные рассказы о превратностях удивительной судьбы артиста, о семье, о детях.

* * *

12 апреля. Рядовой день рожденья хозяина дома. Просторная, элегантная квартира. Много красивых старинных предметов. Картины, светильники, мебель, столовые приборы... И никакой чопорности, жесткого протокола! Свобода, душевная раскованность, отменная еда и «...легкость в мыслях необыкновенная».

Иннокентий Михайлович ведет себя просто, со всеми находит общий язык, разговор его заинтересованный, живой. Не допускает длинных своих монологов, чтобы, как говорят артисты, «не тянуть одеяло на себя», хотя все присутствующие слушают его со вниманием.

Гостей приглашают к столу. Смоктуновский подходит к своему месту с сияющим лицом ребенка, которого ожидает необыкновенный сюрприз. С наивным нетерпением он потирает руки, восхищенно осматривает блюда, украшенные душистой зеленью, затейливые, старинного хрустала графинчики с разными настойками. Его улыбка восторженная и простодушная, как у Юрия Деточкина.

Два-три тоста за здоровье хозяина и хозяйки, далее Андрей Алексеевич всегда просит переходить к чему-нибудь более примечательному. И тут на гостей обрушивается каскад забавных историй, смешных или трогательных случаев, острот, реприз, даже пантомим. Иннокентий Михайлович хочет произнести тост. Встает. Поправляет прядь волос. Он серьезен.

– Это было несколько лет назад. Под Новый год. Один журналист для солидной газеты попросил дать интервью. Я ответил, как мог, на все его вопросы, и под конец он спросил, какое событие в уходящем году является самым дорогим, самым памятным для меня. Я подумал, постарался вспомнить прожитый год и честно признался журналисту в том, что самым памятным событием была для меня нечаянная радость встречи с семьей, которая отдыхала на море, а я, как проклятый, пропал на съемке. И вдруг меня режиссер отпускает на несколько дней. Почти не собирая вещей, я рванул в аэропорт.

На пляже было много народу, но я сразу узнал свою жену – Соломку. Она, как насадка с двумя цыплятами, возилась в песке с Филиппом и Машкой. Я свалился на них неожиданно. Удивление. Радость. Филипп уже был подросток, а Машке лет пять. Я взял ее на руки и вошел с ней в море. Она своими горячими ручками держалась за мою шею. За целый год у меня не было большего счастья, чем этот миг. Журналист, прослушав мою исповедь, остался разочарованным. А мне стало его жаль. Бедный! Эта радость ему незнакома. Ирочка, Андрюша и все, сидящие за этим столом! Я желаю вам побольше счастливых мгновений, которые вы разделяете с дорогими вашему сердцу людьми.

* * *

Супруга Андрея Алексеевича Попова, заслуженный деятель искусств Ирина Владимировна Македонская танцевала на сцене Большого театра и одновременно преподавала актерское мастерство в хореографическом училище при Большом театре. Весной ее питомцы показывали свое умение танцевать на сцене училища, а в зале сидели их родители. Друзья Ирины Владимировны приходили «поболеть» за нее, посмотреть ее воспитанников. Так мы были свидетелями первых успехов Нины Ананиашвили, Андриша и Илзе Лиепы, и многих, многих ныне прославленных во всем мире мастеров балета. Маша Смоктуновская занималась в группе Македонской.

К старшим классам Маша стала крупненькой девочкой, заметного росточка, и Ирина Владимировна больше поручала ей характерные и даже острохарактерные роли. Машу привлекал гротеск. Ее отец, сидя в зале с сияющей улыбкой, не мог скрыть своей гордости и все время, пока шла сцена с участием дочери, тихо восклицал: «Мила-а-а... Ах, как она мила-а-а!» и, желая убедиться, что он хвалит девочку вовсе не из родственных чувств, спрашивал: «Не правда ли?»

Во время перерыва строго-настроено запрещалось посторонним появляться за кулисами. В эти-то минуты я брала Иннокентия Михайловича под легкое крылышко и уводила в фойе, чтобы отвлечь родителя от мыслей об оценке, которую заслужит сегодня Маша. Почти всегда разговор шел о житейском.

На мое замечание, что он очень трогательно относится к своим детям, Иннокентий Михайлович удивленно воскликнул: «А вы можете себе представить, что я сначала вовсе не хотел детей?! Все мои мысли зациклились на театре, на своей актерской карьере. Я понимал, что уходит моя молодость, уходит время, а я все еще неудачник, перекаати-поле. Но Бог мне послал мудрую жену. Когда родился сын, и я впервые взял его на руки, я заплакал от счастья. Моя жизнь обрела иной смысл. Что-то я нашел в себе новое и для творчества. Когда родилась Маша, открылась еще какая-то потайная дверца в моей душе. У девочки – своя аура, своя нежность, даже свое открытие мира. Наверное, я многого бы в жизни не понял, если бы у меня был только сын. Надо, обязательно надо, чтобы в семье росли мальчик и девочка. Это полнейшее счастье».

Помолчав немного, Иннокентий Михайлович сказал фразу, которую потом я буду часто слышать от него: «Наверное, Бог смилостивился ко мне и за все мои страдания наградил непреходящей радостью – замечательной семьей». И вдруг стал рассказывать о своей теще, человеке совершенно удивительной судьбы, женщине с огромным чувством юмора. Жить рядом с таким человеком было легко и просто даже в самые трудные времена.

Здесь я сделаю отступление и поведаю о Шире Григорьевне Горшман, дочь которой – Суламифь Михайловна – стала женой Смоктуновского.

Шира Горшман – писательница, автор нескольких повестей и коротких рассказов. Ее сборники «Третье поколение», «Жизнь и свет» издавались у нас в стране и за рубежом. Все написанное Широй Григорьевной автобиографично. Это и воспоминания о детстве, которое

прошло в маленьком литовском городке Крое, это и рассказы о еврейской коммуне тридцатых годов в Крыму, и память о трагических событиях Отечественной войны, и, пожалуй, самое ценное в ее творчестве – изящные миниатюры. В них столько живого, светлого юмора!

Среди таких миниатюр есть подлинный шедевр. Небольшой рассказ называется «Игра фортуны». Как легко можно догадаться, главный герой этого повествования – Кеша Смоктуновский. Правда, он фигурирует здесь под именем Миша, но что из того? Ведь все детали, все мелочи – подлинные. Итак, живет семья, в которой есть красивая, стройная, с роскошными пепельными волосами и серо-голубыми глазами дочь. Она работает в театре художницей по костюмам. Однажды дочка рассказала матери о том, что к ним в театр поступил провинциальный актер, высокий, бледный, застенчивый молодой человек. «Но если бы ты видела, как он входит, какое у него выражение лица, когда он просит одолжить ему иголку, как сидит возле нашего лучшего мужского мастера и как спрашивает его: „Исаак Моисеевич, взгляните-ка, пожалуйста, на заплатку, которую я пришил... если я буду нужен в театре так, как сейчас, вы возьмете меня к себе?“ При этом неловко улыбается...»

– Скажи мне, дитя мое, он действительно заходит к вам в цех, потому что ему нужно что-то починить?

– Ну да. Несколько дней назад он снова зашел к нам и как-то странно передвигался, держась вплотную к стене. Я ему говорю: «У вас что, брюки порвались, так что неприлично показаться посторонним? Если нужно, я могу вам предложить пиджак и брюки из театрального гардероба. Вас это устроит?» И я подала ему костюм Хлестакова. Он покраснел, улыбнулся, с благодарностью взял костюм и ушел. Через некоторое время он вернулся. Мы его не узнали! Если бы ты видела, как он прошелся по цеху, как подал свои брюки и как потом забрал их после того, как Исаак Моисеевич вставил новое «дно», как поклонился всем нам и элегантно воскликнул: «Тридцать тысяч курьеров!..»

А потом в длинной нескладной комнате игралась свадьба, и молодой человек стал членом семьи. Глубоко почитаемым всеми и любимым. Впрочем, возьмите книгу рассказов Ширы Горшман в библиотеке и прочитайте. Уверена, вы это сделаете с интересом.

А теперь давайте снова вернемся в хореографическое училище. Миновал еще один год. Маша Смоктуновская теперь выпускница. Волнений больше.

Маша хорошо показывает себя в сценах. У нее явные способности драматической актрисы. Отец каждое ее движение сопровождает тихой похвалой: «Молодец! Та-ак... умница... превосходно! Отлично!» и еще тише спрашивает: «Я не завишаю оценку?»

На этот раз во время антракта темой нашей беседы становится книга Иннокентия Михайловича «Время добрых надежд», которая недавно вышла из печати и сразу пошла нарасхват. Спрашиваю, как зародилась идея книги? Смоктуновский простодушно и подробно рассказывает, как ему позвонили из отдела кинематографии издательства «Искусство» и предложили поделиться размышлениями об актерской профессии. О ролях в театре и кино.

– Такой был хороший разговор. Но я очень разволновался и сказал, что никогда не писал книг. Главный редактор успокоил: он даст мне толковых помощников. И я решил рассказать в этой книге обо всем, что было со мною до того, как я пришел в это самое искусство, как трудны были мои первые шаги. Долго думал о названии. Наконец, нашел. Название несло в себе особый смысл. «Время надежд». Редактор Ильина, очень милая женщина, одобрила было, а потом засомневалась: «Иннокентий Михайлович, ну почему так мрачно? Ведь ваша судьба сложилась замечательно. Вы же верили в добро, и эта вера помогала вам преодолевать трудности». «Но... позвольте, – пытаюсь я ей возразить, – не странным ли покажется, что добрые надежды для меня были бременем?» «Ну вот, – обрадовалась милая женщина, – вы сами услышали этот диссонанс. Давайте изменим всего лишь одну букву, возьмем следующую по соседству». «Как? Не бремя, а время» – догадываюсь я и молчу. Редактор страстно убеждает

меня назвать книгу «Время добрых надежд», которое созвучно... которое несет в себе... Да к тому же и редакционный совет будет настаивать на этом варианте.

Перешли к тексту. Редактор деликатно просит меня убрать некоторые резкие, как ей кажется, фразы из описания моих скитаний. Но тут я упираюсь, как бык, и в пылу спора говорю, что уж пусть я уступлю в названии, но здесь сокращать ничего не позволю.

Пройдет много лет. Постепенно, исподволь Иннокентий Михайлович будет готовить к своему 75-летию дополненное издание этой книги. Прежде всего он откажется от названия. Включит в книгу большую главу о своем друге Андрее Попове и два прекрасных очерка, объединенных общим названием «Ненавижу войну». Но эту книгу ему увидеть будет не суждено. Родные, близкие люди бережно выполняют все заветы автора. И теперь книга живет под коротким емким именем «Быть!».

Однако вернемся в хореографическое училище, где Маша Смоктуновская держит экзамен по актерскому мастерству, а мы с ее отцом ждем, когда закончится короткая передышка, и разговариваем о книге «Время добрых надежд», в которой он отстоял возможность рассказать о долгих горьких лишениях, изведенных им в пору, когда слава к нему еще не пришла.

– Иннокентий Михайлович, сколько раз ваша жизнь и ваша актерская судьба висели буквально на волоске. Но вдруг какая-то незначительная случайность, и вы живы, и большая удача падает, будто с неба. Кажется, что вас вела рука Провидения.

– Это абсолютно так. Я твердо уверовал, что меня хранит какой-то неведомый талисман. Ну, посудите сами. Идет колонна военнопленных. Это прифронтовая зона. Немецкой охраны мало, но она хорошо вооружена. Некоторые горячие головы пытаются рвануть. И... автоматная очередь. Остановка. Привал. Я все делаю очень тихо, плавно. Долго лежу, не шевелясь. Вы знаете, каких нервов стоит выдержать вот такую паузу? Жду, когда колонна тронется. Ушли, а я все лежу. Пошел, когда стемнело. Утром надо где-то скрыться. Притаился под мостом. Голодный, не спавший. Сознание плывет. Вдруг вижу – прямо на меня идет немец, из тех, кто охраняет мост. Еще секунда, и он увидит меня. Но в это мгновение он спотыкается, падает, встает, и, пока он отряхивает свою одежду, занят собой, я выпадаю из поля его зрения. И я спасен.

Или вот весной 1945 года. Уже ясно, что война идет к концу. Мне только что исполнилось 20 лет. Как всем хотелось жить! Но начались тяжелые бои. Немцы с воздуха так нас молотили, что от бомбежек гибло больше людей, чем в боях. Сколько раз было, что окапываемся взводом, а поднимаются двое-трое. И какие были ребята!

А потом в Москве. Эти унижительные хождения из театра в театр. Мое терпение было на пределе. Сам себе дал слово, что, если к тридцати годам не стану настоящим артистом, брошу все к чертовой матери и сменю профессию. Я был в таком отчаянии и так близок к роковому поступку! Но именно в этот момент судьба послала мне Соломку. У меня появилось сразу два якоря спасения – верный друг и теплый дом. Моя жена – человек редких достоинств. В семейной жизни я не подарок. Бываю капризен, подвержен депрессии. Она же – терпеливая, мудрая, преданная и несокрушимая.

Господи! Сколько было самых тончайших ниточек, на которых держалась моя судьба. Достаточно дунуть – и дамоклов меч отсек бы меня от больших ролей. В фильме Александра Иванова «Солдаты» я оказался единственным из артистов, кто воевал. И в моем лейтенанте Фарбере, очкарике, сугубо штатском человеке, я хотел выразить то, что испытал на войне. А глаза моего Фарбера совершенно случайно увидел Товстоногов, на которого они посмотрели взглядом князя Мышкина. Не было бы спектакля «Идиот» – вряд ли Григорий Козинцев доверил бы мне воплотить мечту всей его жизни – Гамлета. Не оказался Эльдар Рязанов таким упрямым и настырным, не было бы моего Юры Деточкина в фильме «Берегись автомобиля». Даже курьезные, смешные случаи катили бильярдный шар в мою лузу. Ведь как я познакомился с великим режиссером Михаилом Роммом? Я, нелепый, зажатый, уже не про-

винциал, но еще и не москвич, жду, когда Михаил Ильич зайдет в группу фильма «Убийство на улице Данте», который он тогда снимал. Мы друг друга в лицо не знали. Он входит, окруженный людьми, осматривает комнату, всем говорит «здравствуйте». Мне бы надо двинуться прямо к нему, представиться, но я неловок, застенчив, мнусь. Ромм обращается к ассистенту: «Ко мне должен прийти такой артист... Смоктуновский... Пафнутий, кажется...» Ассистент указывает на меня и говорит, что, наверное, он уже здесь, вот он. Момент был потрясающий. Пауза. Михаил Ильич медленно поворачивается, и у него вот такое лицо. (Смоктуновский проигрывает всю сцену за всех.) Комизм ситуации идет мне на пользу. Ромм, чтобы сгладить неловкость, улыбается, встречает меня очень доброжелательно, и это остается потом на всю жизнь, а в работе над фильмом «Девять дней одного года» мы с ним крепко подружились.

Мое путешествие по лабиринту судьбы – это предмет научного исследования.

* * *

Андрею Алексеевичу Попову к его 60 годам трудно стало возглавлять огромную труппу театра Советской армии, много играть на сцене, сниматься в кино, вести актерский курс в ГИТИСе. И он решил сложить с себя обязанности главного режиссера. Новый руководитель ЦАТСА Ростислав Горяев приложил все усилия к тому, чтобы Попов вообще покинул свой родной дом. Спектакли с его участием сняты с репертуара, никаких новых постановок. И Андрей Алексеевич, благороднейший, неконфликтный человек, принял приглашение МХАТа, где обрел преданнейшего друга – Иннокентия Смоктуновского. Для обоих это была не только дружба, а выстраданное испытаниями духовное родство.

Как только выяснялось, что после спектакля не надо куда-то спешить, Андруша (так звал Попова Смоктуновский) и Кеша заказывали в администрации одну машину на двоих, цветы раздаривали женщинам подсобных цехов, по букету укладывали в машину для жен. Шофера просили, чтобы он ехал на Суворовский бульвар к дому Иннокентия Михайловича и там их ждал. А сами выходили на Тверскую, останавливались у памятника Пушкину, потом переходили на почти безлюдный Тверской бульвар и медленно шли к Никитской. О чем беседовали? О прочитанном двухтомнике Михаила Чехова, о книге Питера Брука «Пустое пространство», о пьесах Булгакова, о работах режиссеров, актеров в театре и кино. Дойдя до ожидавшей их машины, посетовав на такой короткий путь, обнявшись, расставались. Смоктуновский был уже у дома, а Попова шофер вез на Смоленскую набережную.

* * *

Весна 1983 года. Художественному театру предстоит поездка в Чехословакию. И два друга мечтают о том, как славно они будут жить на гастролях. У обоих нет больших ролей. В «Чайке» Попов играет Сорина, Смоктуновский – доктора Дорна. Они будут бродить по каштановым и липовым аллеям просторных пражских бульваров. Сидеть за чашечкой кофе в маленьких уютных ресторанчиках и, наконец-то, наговорятся всласть. А то все спешка, все на бегу. Но Андрей Алексеевич недомогает, на гастроли не едет. Ложится в госпиталь на обследование, как он говорит, на капремонт. Несколько дней спустя после операции Попов умирает. Весть о его смерти приходит в Брно во время спектакля. Ценой невероятных усилий играют артисты. Последние слова, которые произносит Дорн-Смоктуновский, для них полны иного значения: «Уведите куда-нибудь... Ирину... Ирину Николаевну... дело в том, что Константин Гаврилович... застрелился!»

Иннокентий Михайлович прощался с другом издали. Но теперь, в день рождения Попова – 12 апреля и в день его смерти – 10 июня Смоктуновский, если он в Москве, всегда приходит к Ирине Владимировне, где собираются друзья Андрея Попова.

* * *

Идут годы. Возраст берет свое. Легкие волнистые волосы Иннокентия Михайловича становятся пепельно-серебристыми, дантист мастер-класса придал его детской улыбке светскую блистательность, но удивительные глаза артиста остались теми же детски наивными, такой же осталась и походка, слегка развинченная с «загребаящими» ступнями.

Неожиданная встреча. Самое начало 90-х. Весна. Еще прохладно, но день солнечный. Еду на троллейбусе от центра по Тверской. Вдруг вижу Иннокентия Михайловича, который выходит из Камергерского на Тверскую. Мы виделись совсем недавно, в день памяти Андрея Попова, и Смоктуновский рассказывал о том, что сейчас репетирует очень интересную пьесу «Возможная встреча», где он играет Себастьяна Баха, а Олег Ефремов – Генделя. Иннокентий Михайлович в черном длинном пальто, в темной кепчонке, немного сдвинутой на затылок. На лице улыбка блаженного. Идет своей походкой шалтай-болтая, длинные руки раскачиваются не в такт ногам. Никто на него не обращает внимания. Выхожу на остановке у книжного магазина. Жду. Когда он подходит, беру его за легкое крылышко.

– Куда путь держите?

– К Александру Сергеевичу, – улыбаясь, отвечает Смоктуновский. – Сейчас на центральном радиовещании записываю Пушкина. Работа очень большая. Они говорят, что создают нетленку. А на меня свалилось огромное счастье. Ведь мне только довелось в Норильском театре сыграть Моцарта, а на телевидении Сальери. Теперь я весь погружен в Пушкина и благодарю Бога, что Он наградил меня такой работой! Ведь только подумать: «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Медный всадник»! Так волнуюсь, что ночи не сплю.

На углу Тверской и Страстного бульвара мы попрощались. Я знала, что Смоктуновскому с Пушкиным надо беседовать наедине.

* * *

Каждый год Липецкий академический драматический театр имени Льва Толстого проводит театральные встречи. Сюда приезжают ученые-филологи, театроведы, артисты. Приглашаются и театры. МХАТ погостил всего лишь один день, дав пьесу Чехова «Вишневый сад», и отбыл в Москву. Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский остались, чтобы посетить музей Льва Толстого в Астапово. Конец февраля. Накануне шел снег. Намело сугробы. Машины не могут подъехать к музею. Идем. Спрашиваю:

– Иннокентий Михайлович, вам никогда не приходилось играть в пьесах Льва Толстого?

– М-м-м, – стонет. – Не сыпьте мне соль на рану. Играл в очень слабом фильме Венгерова «Живой труп». Играл эпизод. Того самого человека, который приносит Протасову пистолет. Я постарался что-то сделать... Фильм сильно ругали. Меня похвалили. Потом телевидение сняло фильм «Песни цыган» по «Живому трупу». Тут я играл Федю Протасова. Работой своей остался недоволен. А вот то, о чем я мечтал, не получилось. Очень... Очень хотел сыграть Пьера Безухова у Бондарчука, а он настаивал на Андрее Болконском. По времени работа совпала со съемками «Гамлета». Надо было решаться. Если бы Бондарчук уступил мне Пьера Безухова, я бы отказался от Гамлета.

В Липецке мы жили в одной гостинице, и, хотя программа была очень плотной, Смоктуновский выкроил время для интервью. Вот оно.

– Иннокентий Михайлович, когда читаешь вашу книгу, обращаешь внимание на то, что в юности у вас были беспорядочные метания от одного дела к другому. Не окончили среднюю школу – поступили в фельдшерско-акушерское училище, немного поучились – ушли в школу киномехаников. Отчего так?

– От великой нужды. Был мир, и было все нормально в семье. Отец – человек необыкновенный. Рыжий. Огромного роста. Веселый. Его мужики любили звать побалагурить. Иди, мол, Петрович-Смоктунович, расскажи что-нибудь, чтоб душа растаяла. Как война началась, он сразу ушел на фронт. Большой отряд добровольцев я провожал до парохода. Смотрел на отца – высоченного, широкого в плечах и думал: какая точная мишень для стрелка...

У нас, сибиряков, спокон веку заведено мужику быть хозяином. Остались мы с братом Володей. Ученик в школе – это не профессия. Я думал поскорее выучиться на фельдшера. Это всегда кусок хлеба. Но в училище давали студенческие карточки, а в школе киномехаников – рабочие. Вот я туда и переметнулся. Я уже вам говорил, что меня вело Провидение. Именно в школе киномехаников, крутя пленки, я получил первые уроки актерского мастерства. Я вдруг почувствовал, что внутри меня бродит непонятная сила. Как бродит нефть под землей, а выхода ей нет. Уже тогда, правда, еще смутно, забрезжила мечта стать артистом, потому что я абсолютно четко видел себя на экране, а не за кинопередвижкой.

– Скажите, бродячий артист Кеша Смоктунович и народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Иннокентий Смоктуновский – это два разных человека или живут один в другом?

– Время очень изменило меня. Я был очень добрым и доверчивым, очень открытым. Именно за эти качества мне больше всего досталось шишек.

Да, меня вело Провидение, но вело по таким острым камням, по битому стеклу – и в ужасную жару, и в дикий холод. Мне все в жизни давалось тяжело. Поэтому я стал человеком закрытым. Научился наступать на горло собственной песне. А Кеша... он живет во мне. Только тихо. Выходит на свет Божий дома, тогда, когда ко мне ластятся дети и собаки или когда на поляне горит костерок.

– А ваше представление о счастье со временем изменилось?

– Нет. Только раньше много что входило в понятие «счастье». Конечно, прежде всего, это ценности духовные. Но когда-то для меня непременным условием благополучия было иметь свой дом, кресло, письменный стол, библиотеку, телефон, что же говорить об интересных больших работах в театре и кино – конечно же! Теперь у меня все это есть, я к этому привык, и стало обыденностью. А вот моя семья, мои дети, наше духовное родство осталось непреложным в понятии чувствовать себя счастливым человеком.

– Вы подаете милостыню?

– Да. Всегда. У меня очень высокая интуиция. Я сразу чувствую, действительно ли этот человек нуждается или представляется нищим. В первом случае я помогаю из сочувствия, а во втором случае, как своему коллеге, – за игру.

– Если у вас очень развита интуиция, как же вы обращаетесь с экстрасенсами?

– Им со мной неинтересно – так же, как и мне с ними. Но вот сколько я ни пытался, я не мог докопаться до первоосновы, как, из какого вещества рождаются взгляд, жест, интонация, походка человека, которого я воплощаю собой? Убежден, что у актера не пять органов чувств, а гораздо больше. К примеру, глаза Иннокентия Смоктуновского, московского гражданина, проживающего на Суворовском бульваре... Им свойственно, как и каждому, выражать одобрение, осуждение, зависть, гнев. Но глаза артиста Смоктуновского могут гораздо большее – они живут, страдают, смеются, думают, наконец, как князь Мышкин, ученый Куликов, Принц датский, недотепа Деточкин, сугубо штатский интеллигент на войне Фарбер.

– Кстати, о Фарбере. Есть у меня один маленький сюжет. Могу его подарить вам.

– Это очень любопытно. Я весь внимание.

– Недавно мне довелось слышать замечательного просветителя, по образованию историка, но в душе артиста. Это Михаил Иванович Абрамов. Он прочитал блистательную лекцию о Шаляпине. После мы беседовали с ним о магической природе таланта. Как смог полуграмотный, полуничий казанский мальчишка стать непревзойденным гениальным артистом –

самородком, покорившим все оперные сцены мира? Проходит полвека, и Россия снова являет чудо – Иннокентия Смоктуновского... «Этот, вообще из сибирской глухомани, врывается, как тунгусский метеорит, и дает разгадки таких непостижимых образов, как Мышкин, Гамлет, Иванов!» – восторгался Михаил Иванович...

Когда он смотрел фильм «Солдаты», то лейтенант Фарбер его особенно взволновал. Он силился вспомнить, где его видел? Именно его, неловкого, нестроевого очкарика, но страстного защитника справедливости. И вспомнил. Московский университет эвакуировался в Ашхабад. С жильем и питанием трудности. Кусочек черного хлеба выдавали в одном месте, а миску жидкого супа в другом. Вдруг с супом начались задержки. Студентам приходилось ждать у закрытых дверей. В голодном нетерпении съедали хлеб, а потом хлебали пустой суп. Наконец, терпение ребят кончилось. Из толпы вышел худой, сутуловатый студент и громким картавящим голосом обратился к тем, кто находился за закрытыми дверями. Он требовал, стыдил, грозил. Толпа его поддержала. Справедливость была восстановлена, однако в те годы за подобное выступление можно было жестоко поплатиться. Этим пламенным оратором был студент физико-математического факультета Андрей Сахаров. Прототип Фарбера.

– Спасибо. Очень меня порадовали. При встрече с Андреем Дмитриевичем непременно расскажу ему об этом.

Последняя моя встреча с Иннокентием Михайловичем была 6 мая 1993 года на 60-летию Владимира Яковлевича Лакшина. Смоктуновский не только преклонялся перед энциклопедическими знаниями Лакшина, он его обожал как человека. Всегда обращался к нему за помощью при работе над чеховскими образами, над персонажами Островского. И благоговел перед ним, как перед умнейшим собеседником.

Я знала, что среди приглашенных гостей будут Смоктуновский, Олег Ефремов, Никита Михалков. В это время на «Радио России» в литературной передаче о творчестве инвалидов «Твоя победа» мы объявили конкурс, и его лауреатам пообещали в награду фотографии известных артистов с их автографами. Все знаменитости с охотой расписались на своих фотографиях. А когда я рассказала Иннокентию Михайловичу об очень талантливых участниках этой передачи, он взял стопочку своих фотографий и на каждой не только поставил подпись (замечательный летящий бросок «Ин. Смоктуновский»), но и приписал теплые слова приветия и добрые пожелания. Представляете, с какой радостью принимали наши подарки победители!

Владимиру Яковлевичу Лакшину оставалось жить всего лишь восемьдесят дней. Иннокентию Михайловичу – год.

Сейчас они навечно расположились рядом на Новодевичьем кладбище. Белая глыба природного мрамора. В середине высечен портрет артиста с задумчивым лицом князя Мышкина, а может, чеховского Иванова? У подножья памятника – квадратик земли и две мраморные ступени, на одной из которых выбиты слова: «Дальнейшее – молчанье».

Последние слова умирающего Гамлета.

© Алла Зубова, 2018

Лев Золотайкин

Мечты сбываются

Я не историк, а маленький мальчик, который в 1945 году пошел в школу. То есть 9 мая кончилась война, и 1 сентября было уже мирное время. Перестали звучать ежедневные сводки о потерях и победах, но мы еще продолжали играть в войну и стрелять из деревянных ружей.

Сегодняшняя Москва – это двенадцать миллионов зарегистрированных жителей, а фактически, учитывая бесчисленные махинации с проживанием, цифра доходит до двадцати миллионов. Это количество подтверждается самым надежным показателем – объемом потребляемых продуктов.

Москва невероятно расширилась, закатав в асфальт и застроив многоэтажками окрестные деревни.

А раньше я с Трубной улицы, где мы жили, мог сесть в трамвай и довольно быстро оказаться на окраине, или, уж совсем быстро, доехать на метро до Сокольников, где начиналась лыжня в лес, который, правда, из-за протоптанных дорожек и стоящих кое-где лавочек назывался лесопарком.

Тут же, очень кстати, стоял сарай, в котором напрокат выдавали лыжи.

А на другом краю Москвы, там, где теперь стоит памятник Гагарину, начиналось Калужское шоссе, по которому можно было доехать до нашей деревни. Так что каждую весну моя энергичная тетушка или кто-то из маминых братьев договаривался с шофером и мы, подпрыгивая на узлах и чемоданах в кузове грузовичка, отправлялись в родное Трубино.

В общем, оглядываясь на те годы, я вижу Москву маленькой, обжитой и уютной. А если в цифрах, то это около четырех миллионов жителей и примерно сто пятьдесят тысяч автомобилей в 1960 году, а до того еще меньше.

И уж, конечно, большинство населения, очень привычно и естественно, жило в коммунальках. Например, в нашей квартире за четырьмя дверями обитало шесть семей. В начале коридора находились две смежные комнаты, в которых размещались три родные сестры моего отца, у двух из них были мужья плюс каждая имела по одному ребенку.

Дальше шла наша комната, а за ней маленький закуток, в котором топилась общая с соседкой печка и нагревала у нас стенку, выложенную изразцами. Такая же стенка была и у соседки, жившей с матерью и Борисом, которого наши женщины определяли, как «приходящего» мужа. В те времена тунеядство считалось преступлением, и наш участковый милиционер следил за тем, чтобы люди не бездельничали. Но Борис умел находить такие работы, которые позволяли ему подолгу валяться на диване. А еще эта соседка, которая в кухонных скандалах не забывала подчеркивать, что она научный работник зоопарка, приносила со службы попугаев, и Борис сбывал их на птичьем рынке.

Наконец, в последней, крохотной комнате проживали муж, жена и две дочери. Родители были очень крупные, а муж еще и приходил с работы в крепком подпитии, так что ругань и пение мужа неслись из комнаты до ночи, и девочки, со старшей мы были ровесниками, домой не спешили.

По вечерам выходила во двор наша небольшая компания – пятеро ребят, моя соседка и еще две девочки. Гитары не было, песен не пели, но ведь смеялись и не расходились до темноты. А по выходным часто играли в «казаки—разбойники», и носились по проходным дворам и Цветному бульвару.

Потом мы постепенно разошлись по школьным компаниям, и я уже больше времени проводил со своими друзьями Генкой и Гайяром в их татарских дворах на Трубной и Мещанской улицах.

Все окрестности, веером от Трубной площади, были нами освоены. В парке Марьиной рощи иногда проходили уроки физкультуры и разные соревнования по бегу и прыжкам. Напротив Моссовета, перед бывшим институтом марксизма-ленинизма, и сейчас еще льется из стенки вода в небольшой бассейн. А тогда мы в нем купались, и трусы отжимали как раз в подъезде института.

А зимой все переулки со Сретенки на Трубную улицу были сплошной ледяной горкой, по которой катились санки и разные самоделки из арматуры и кусков жести. Конечно, мы бегали на катки, самыми ближними были сад ЦДСА и «Динамо» на Петровке. Везде давали коньки напрокат, иметь собственные «гаги» или «канады» было не по карману. И вот мы привязывали к валенкам свои «снегурки». Шиком было зацепиться проволочным крючком за задний борт грузовика и проехаться по Трубной улице.

Я рано, еще до школы, научился читать и привязался к книгам. Даже появилась привычка садиться есть обязательно с книгой. Мама и бабушка недовольно ворчали, но я упрямо косил глаза в раскрытые страницы. А еще стало постоянным занятием – обходить по выходным все близлежащие книжные магазины. И не обязательно что-то покупать, а просто посмотреть, что нового появилось. Книг в ту пору выходило мало, и ассортимент их мог не меняться неделями, но справедливости ради, нужно сказать, что издательства осознавали бедность населения и большими тиражами выпускали простенько оформленные сочинения русских классиков, книги о спорте и о разных исторических и географических событиях. Журналы «Огонёк» и «Крокодил» издавали массовыми тиражами популярные серии карманных книжек. Таким же ширпотребом занималось и издательство «Физкультура и спорт». Как-то на Сретенке я купил маленького формата, но толстенькую книжку Дмитрия Урнова «Железный посыл». Ничего лучшего о лошадях, жокеях и скачках я больше не встречал. Она у меня стала, как допинг: нет настроения – почитаю про лошадей. И помогало. Много позже мне попался журнал «Америка», а в нем большая подборка материалов с цветными фотографиями о герое моей любимой книжки – жокее Насибове. Он был всемирной звездой, выигрывал мировые скачки, привозил на родину престижные награды, а дома продолжал скромно жить в коммунальной квартире. В книге была забавная сценка: Насибов, держа диету, по утрам на кухне вкушал свой завтрак – яичко всмятку; а его здоровенный сосед, сидя напротив и глядя на него с сочувствием, хлебал перед уходом на работу наваристый борщ.

Возвращаясь к моим прогулкам по книжным магазинам, нужно заметить, что их вокруг было довольно много:

- на Сретенке – букинистический и книжный (потом стал «Спортивной книгой») магазин;
- за памятником Первопечатнику – букинистическая лавка;
- в здании гостиницы «Метрополь» – букинистический магазин;
- на Кузнецком мосту – книжный магазин, «Лавка писателей» и «Театральная книга»;
- в проезде Художественного театра (теперь Камергерский) – два букинистических магазина, «Педагогическая книга» и «Политическая книга»;
- на Петровке – «Техническая книга» и рядом, в проезде – заветный для москвичей магазин подписных изданий;
- на Пушкинской площади – «Академическая книга».

Получается четырнадцать книжных точек, а сейчас в этой округе два книжных монополиста – «Москва» и «Глобус». Полки ломятся от роскошных изданий за пределами стоимости.

Даже детская литература стала совершенно бессовестным способом наживы. Кстати, самих детей я в этих магазинах вижу редко.

Раз уж, хотя и косвенно, зашел разговор о деньгах, то ситуацию с ними стоит немного прояснить. В 1947 году при Сталине и в 1961 году при Хрущёве в стране были проведены денежные реформы.

В 1947 году отменили карточки на продукты, а сама реформа стала борьбой с владельцами «лишних денег» без учета того, откуда они взялись – заработаны или наворованы. Зарплата у людей осталась без изменений, а наличные деньги меняли из расчета десять старых рублей на один новый. Рядовой безденежный труженик при этом терял мало, а вот владельцы «кубышек» пострадали. В сберкассах до трех тысяч обмен шел один к одному, а из больших вкладов просто изымалось от трети до половины суммы. Повсюду в сберкассы стояли очереди, чтобы раздробить вклады, а в магазинах сметали все подряд. Сами новые бумажки стали более крупными, так что их обозвали «сталинскими портянками».

Как-то шел я по Неглинке и увидел под ногами большую зеленую купюру – 50 рублей. Я так растерялся, что подошел к продавщице мороженого и спросил: «Вы не теряли денег?» К счастью она тоже растерялась и сказала: «Нет», так что я принес деньги домой, и мама мне сделала подарок – разрешила купить на них коробку цветных карандашей и альбом бумажных солдатиков. Я их вырезал, и мы воевали.

Вторая реформа потребовалась, чтобы хоть как-то уменьшить денежную массу. Деньги по размеру стали меньше и их уже называли «хрущевскими фантиками». Наверное, в этих усмешках отразилось затаенное презрение к циничным манипуляциям власти.

Конечно, пропаганда была в восторге. Журнал «Крокодил» отметил угодливым сравнением: старая копейка валяется в грязи, затоптанная ногами прохожих, а новая копейка лежит, сияя лучами, и к ней тянутся десятки рук. На самом деле и этот обмен был скрытым подорожанием. Цены округлялись в большую сторону, а тот же стакан газировки или коробок спичек, как стоили копейку, так в той же цене и остались.

Но вернемся к книгам, к тому неожиданному событию, когда одна наша родственница завещала мне целый книжный шкаф с книгами дореволюционных изданий.

Жила на Земляном валу такая наша тетя Оля, бывшая модная портниха. Как-то ей удалось сохранить маленькую квартирку и существовать в ней отдельно от уличных событий. Сколько ни боролись мужчины с буржуазными привычками, жены их упрямо хотели красиво одеваться, вот они и помогли выжить тихой белошвейке.

Тетя Оля и маму учила шить и, вообще, помогала ей прилично выглядеть при отсутствии денег и товаров в магазинах одежды. Так что мы и с мамой ходили в гости на Земляной вал, а потом я и один стал забегать к гостеприимной тетушке. Она поила меня чаем с разными плюшками, потом, перед уходом совала мне несколько рублей. Но главное, я подолгу сидел у книжного шкафа. Там были большие альбомы художников: Врубеля, Левитана, Репина, совершенно мне не известных Бенуа, Лансере и других; журналы с красивым названием «Аполлон»; собрания сочинений Чехова и Льва Толстого, Горького, пьесы Островского и, наконец, главное – 25 позолоченных томов Большой Энциклопедии. Потом уже я узнал о знаменитом Брокгаузе и разобрался, что у меня не он, а просто старое, хорошее издание с яркими цветными картинками и картами.

Я читал и перечитывал первый том сочинений Чехова, где собрали все его издевательски смешные рецензии и пародии на тогдашние театральные премьеры. Московские сцены были переполнены фарсами, водевилями, разными шоу и скетчами с криками, стрельбой, дымом и раздеванием до нижнего белья. Хозяева театров шли на все, чтобы зритель ржал, как сума-

спешивший. Молодой, веселый Чехонте в своих пространных опусах доводил этот балаган до полного идиотизма.

В общем, мне привалило счастье. Дело было зимой, и я на санках по бульварам возил книги с Земляного вала к себе в Печатников переулок. А шкаф мы на сцепе санок тащили с другом Генкой.

К школе я вроде был подготовлен, но оказался среди отстающих. А еще я переучивался с левой руки на правую, и буквы мои выглядели ужасающе. Но тут в декабре местком выделил маме путевку, и меня отправили в зимний лагерь. Такой в пригороде подобрали большой старый дом и оборудовали на первом этаже два класса и столовую, а на втором – большую общую спальню.

Компания, одни мальчишки, собралась очень пестрая в духе тогдашней улицы. Москва была богаче всех городов и в ней собралось больше всего жуликов. На окраинах они отдыхали в своих «малинах», а в центре работали. Сретенка выходила на знаменитый Хитров рынок, а окрестности Цветного бульвара славились заведениями с красным фонарем. Советская власть Хитровку ликвидировала, «фонари» погасли, но уголовная атмосфера осталась, хотя жизнь ее корректировала. Если в нашем небольшом дворе кто-то из старших ребят традиционно отбывал срок, то мой двоюродный брат прибил к геологам и пропадал в экспедициях. А мой родной старший брат и еще один двоюродный после седьмого класса с помощью военкомата поступили в бакинское военно-морское подготовительное училище.

Ну, а в нашем зимнем лагере быстро сложилась уличная прилапчатая атмосфера. Кто посильней, стали командовать, а кто послабей, слушались. Хотя делить было нечего и до издевательств дело не доходило. Просто в уличных играх вожаки были храбрыми разведчиками, а более тихие – пленными немцами.

В общем, мы жили хорошо: нас кормили, о нас заботились и разрешали много гулять. Я избавился от опеки своего братца, правая рука заработала, и учеба наладилась. К чтению меня тянуло по-прежнему, и я решил стать писателем. Для этого, по моим понятиям, нужно было узнать жизнь и прочесть все книги.

Тогда представление о мировой литературе у нас было очень туманное, и одолеть «все книги», о которых я слышал, казалось вполне реальным. Мне нравились романы Жюль Верна, я их прочел с десяток, и больше не мог достать, пошел даже в Ленинскую библиотеку (тогда это было просто). Там меня похвалили, но сказали, что и у них больше нет его сочинений, что вообще-то он написал шестьдесят с лишним романов, но многие не переведены на русский язык. Для меня это стало новостью. О переводе я как-то не думал. Казалось, что вот написал, напечатали и везде читают.

С такой же непосредственностью я первый раз оказался в театре. Как-то у меня скопилось двенадцать рублей. Я пришел в кассы Малого театра, дотянулся до окошечка и сказал:

– Дайте мне билет за 12 рублей.

Кассирша равнодушно выдала бумажку. Я отошел в сторонку и прочитал: «Балкон 2-го яруса, начало в 19 часов». И косою фиолетовый штамп – «Бесприданница».

Советские режиссеры к классикам относились с почтением. Если написано: «четыре действия», значит, играли четыре действия с тремя антрактами. Спектакль тянулся до ночи. Сердобольные гардеробщицы в перерывах меня жалели:

– Шёл бы ты домой, мальчик. Спать пора.

Но я упрямо досидел до финала, пока несчастный жених не стрельнул из пистолета.

Вообще-то, я театр уже давно слышал по радио. Такая большая, черная тарелка стояла у нас на шкафу. Винтик «тише-громче» не работал, к тому же вилка в розетке у нас была загорожена шкафом. В общем, выключить радио было невозможно, оно работало от утреннего

гимна до ночного. Я привык делать под радио уроки и даже маме с ее чутким сном радио не мешало.

Такое принудительное слушание радиопередач оказалось довольно полезным. Я узнавал много интересного. Бог с ней, с идеологией, ее и повсюду было через край. Зато по радио выступали самые замечательные артисты. Это же была аудитория на всю страну, как сейчас телевидение. Музыка, песни перемежались стихами и замечательной прозой. Ставились мастерские радиопередачи, вроде «Клуба знаменитых капитанов», «Звездного мальчика», «Оле Лукояе», много сказок, инсценировок русской и даже зарубежной классики. Наконец, по радио передавали записанные прямо из зала спектакли, эстрадные концерты с популярнейшими конференсье Мировым и Новицким, транслировались даже оперы из Большого театра. Передачи занимали весь вечер с последними известиями в антрактах. Казалось, тому же «Ивану Сусанину» не будет конца, и я засыпал под звон колоколов.

У меня только по линии отца родственники – коренные москвичи, а маму отец сосватал в нашей деревне. Мама окончила сельскую школу и больше не училась. Она была старшей из шести выживших бабушкиных детей, так что пришлось быть и нянькой, и главной помощницей по хозяйству. Ей достались все лучшие качества, накопленные поколениями семьи: красота, глубокий, чистый голос и золотые руки – она лучше всех пекла, солила, мариновала, готовила не только вкусно, но и как-то очень красиво. У мамы, как все признавали, была «легкая рука» – что бы она ни сажала, все бурно росло, цвело и созревало.

Но в Москве она оказалась, не имея никакой специальности. Вот они стоят в полный рост на фотографии 1927 года: отец, Матвей Степанович, в строгой рубашке, ворот застегнут, на рукавах запонки, и мама, Татьяна Николаевна, в светлом платье, скрывающем беременность – через некоторое время на свет появился мой старший брат. Позже наша родственница, профессиональный фотограф, устроила маму лаборанткой в фотоателье на Тверской улице, недалеко от проезда Художественного театра.

А потом я родился. Началась война, отца не взяли в армию по возрасту, он пошел в народное ополчение, получил под Москвой тяжелую контузию и долго лежал в госпитале. Вскоре после выписки отец был откомандирован в Округ железных дорог Дальнего Востока, где и застрял на целых семь лет.

Так и остались мы втроем – мама, бабушка и я (старший брат учился в Ленинграде).

Незадолго до этого закрылся фотосалон, и опять же один из родственников помог маме устроиться билетером в цирк на Цветном бульваре. Вот в цирке мама и проработала двадцать пять лет, до самой пенсии. Там она даже сделала «карьеру» – стала начальником цеха, в который входили все билетеры, контролеры и гардеробщики. А последние лет десять была ответственной «хозяйкой» директорской ложи.

Цирк в те годы был очень популярен, и в ложе бывали очень важные зрители, например, Екатерина Фурцева со своим мужем, послом в Югославии Николаем Фирюбиным. При такой должности ему не полагалась правительственная ложа, вот и следовала жена за мужем в простую директорскую.

В 1957 году маму от коллектива цирка даже избрали народным заседателем Народного суда Свердловского района Москвы. Была такая общественная служба – в течение двух лет отработать в суде, в порядке очередности, примерно месяц. Мама выполняла свой долг со всей серьезностью, и ее раза два переизбирали на новый срок. И тот низовой суд был довольно человечным, в основном рассматривали бытовые дела и даже выносили оправдательные приговоры.

У мамы был очень общительный и доброжелательный характер. Пока она была жива, я видел всех наших родственников, кого-то мы навещали, к нам приходили в гости. Некоторые

ее деревенские подруги тоже в замужестве оказались в Москве, и все они часто встречались. А самая близкая мамина подруга, Вера Мельникова, достигла таких «высот», как работа в знаменитом тогда меховом комиссионном магазине на углу Петровки и Столешникова переулочка. Она даже сумела устроить маме каракулеву шубку так дешево, что мама смогла набрать на нее денег (та же Вера и дала ей займы).

Наверное, то, что наше Трубино находилось сравнительно недалеко от Москвы и многие мужчины имели семьи в деревне, а в Москве работали, в общем, и обеспечило этому поселению некий городской налет. Особенно летом, когда приезжало много детей, становилось шумно, и большой пляж у моста на реке Протве заполнялся купальщиками. Я смотрю на старые фотографии маминых подруг: очень симпатичные женщины, со вкусом одетые, лица приведены в порядок, никаких следов деревенского простодушия.

В общем, мама работала в цирке – и все наши родные и знакомые стали туда ходить. Мама предупреждала на контроле, ее гостей пропускали, а уже в зале их как-то устраивали, на свободные места или на приставные стульчики.

Со временем мама подружилась с некоторыми своими коллегами из разных театров и принимала их у себя в цирке, а я, как «Танин сын», мог свободно ходить к ним в театр. Была у меня и еще одна возможность попадать в театры: директорская ложа цирка располагалась как бы на втором этаже и имела отдельный вход с улицы. Кроме нее на этаже размещался отдел массовых зрелищ министерства культуры. Постепенно я познакомился с нарядными чиновниками. Им было лень ходить на Центральный рынок, который располагался тогда рядом с цирком, вот они и просили меня покупать им кое-что к обеду. Мне это не составляло никакого труда, а дамы разрешали мне пользоваться театральной бронью: в их отделе на столике всегда лежала кучка билетов в театры, и за полчаса до начала спектакля я мог даром выбирать любой.

Культурная жизнь Москвы была очень наглядной и интересной. Стены домов сплошь обвешивались щитами с афишами спектаклей, концертов, выставок, лекций, творческих вечеров. Сводные афиши театров дробились на репертуары отдельных храмов искусств и даже на программы конкретных спектаклей: кто кого играет и какого числа. То есть, спеша по делам, человек попутно мог узнать много интересного. Это сейчас в Москве прячутся сотни две театров, тогда их было в десять раз меньше, все располагалось в центре города и были известны во всех подробностях. В Москву стекалось все самое интересное. Я попал на концерты таких легенд, как Изабелла Юрьева и Александр Вертинский – на сцену ЦДРИ вышел высокий, прямой старик и сначала удивил, а потом заморозил публику непривычной картавостью, изысканностью речи, выразительностью рук, которые казались огромными и находились в непрестанном, плавном движении.

Зарубежные артисты приезжали редко, но всегда это было что-то особенное. Перуанская дива Има Сумак выступала в зале Чайковского. В первом отделении она вышла вся в перьях, сверкающая, с огромными раскрашенными глазами. Когда она пела «Гимн Солнцу», голос переходил в какое-то уже нечеловеческое звучание. Писали, что у нее диапазон – пять октав. Но она владела и обычной манерой исполнения – во втором отделении на сцену вышла симпатичная брюнетка, приятным голосом она пела латиноамериканские песни.

В институтскую пору мне очень нравилась певица Алла Соленкова, и я старался попасть на все ее выступления, их было немного, три – четыре в год. Она отличалась красивым, звонким голосом с очень чистой и приятной дикцией. Выступала всегда без микрофона. По радио тогда часто передавали в ее виртуозном исполнении «Соловья» Алябьева. Верхом признания вокального таланта было тогда приглашение в Большой театр. Соленкова там числилась два года, но пела мало, из главных партий только Снегурочку, Марфу и Джильду. Я слушал её в «Вертере», в маленькой роли сестры героини. В тот вечер со сценой прощался великий Сергей Лемешев. В свои шестьдесят лет он был полноват для юного героя, но голос оставался

молодым. Поклонницы в слезах кричали, хлопали и заваливали сцену цветами. В Большом театре как раз был период, когда корифеи постарели и располнели, особенно женщины, так что молодая и тоненькая Соленкова пришлась не ко двору. С 1958 года она стала солисткой московской филармонии, год стажировалась в «Ла Скала» и очень успешно гастролировала в США и Японии, но в нашей прессе об этом не сообщалось.

Всеволод Аксёнов, чтец-декламатор, обладатель редкого по красоте голоса, выступал в зале Чайковского с литературно-музыкальной композицией по драме Ибсена «Пер Гюнт», музыка Грига. Участвовали знаменитые актеры, в главной роли, конечно, сам Аксёнов, а Соленкова блистала в партии Сольвейг. У меня есть только одна ее пластинка, уже заигранная и с царапинами. Но спасибо интернету, там, в разделе «Выдающиеся певцы» есть большой набор ее записей.

С Большим театром наши отношения неожиданно оживились, когда где-то классе в пятом к нам пришел новый ученик – Гена Нефёдычев. Его посадили со мной, и началась наша дружба на всю жизнь. Оказалось, что Генка учился в хореографическом училище при Большом театре, нагрузки там были сумасшедшие и, когда появились боли в сердце, родители перевели его в обычную школу. Он, естественно, еще жил воспоминаниями о сцене. Учащихся хореографического училища уже выпускали в спектаклях, где участвовали дети – в «Медном всаднике», «Пиковой даме», «Дон Кихоте». Когда у нас в школе изредка устраивался вечер танцев, все мы жались к стенкам. А Генка непринужденно подходил к девочке, кланялся, предлагал руку, и они танцевали. А в нашей деревне, куда мы теперь приезжали вместе, мой друг вообще стал первым парнем, тем более что в добавок к симпатичной внешности, он являлся с аккордеоном и шпарил на нем все самое модное.

Но я возвращаюсь к Большому театру – мы с Генкой стали ходить на балеты. Чаще всего мы приобретали в кассе входные пропуска. Они стоили копейки, и можно было стоять на верхнем ярусе. Но Генка-то знал все закоулки, и мы устраивались поближе к сцене, на которую я теперь смотрел более осмысленно, ориентируясь на Генкиных кумиров и на шкалу ценностей, которая у него успела сложиться.

Тогда выступала целая плеяда блестящих мастеров характерного танца – Сергей Корень, Алексей Ермолаев, Александр Лапаури, Геннадий Ледах – они совершали эффектные прыжки, сложные развороты и, казалось, зависали в воздухе. А что касается балерин, то, не имея собственного опыта, Генка небрежно повторял слова взрослых премьеров, дескать, какой это адский труд «таскать пудовых теток». А «тетки» – Раиса Стручкова, Ольга Лепешинская, Галина Уланова, Майя Плисецкая – летали по сцене и казались невесомыми. Особенно весело было на балете «Мирандолина», а в «Дон Кихоте» на сцене появлялись живая лошадь и осел, Генка хвалился, что кормил его из своих рук.

В старших классах у нас в школе организовали драмкружок. В театральном магазине на Кузнецком мосту я купил пьесу чешского автора «Чертова мельница». Она шла в кукольном театре Образцова, и я ее слышал по радио. Из соседней школы приглашали в кружок девочек. Поначалу все мы очень стеснялись, но потом освоились и после репетиций даже танцевали. Заводили пластинки, и томные тенора пели о чувствах.

У нашей учительницы немецкого языка был целый комплект пластинок Петра Лещенко фирмы «Columbia» с собачкой, слушающей граммофон, на этикетке. Потом появились записи «на костях» – на рентгеновских снимках – западные песни, джаз, записи пианиста-виртуоза Александра Цфасмана. «Какие синкопы!!!» – закатывал глаза Генка, щеголяя умным словом.

Вся эта музыка и танцы летом перекочевали в деревню, и мы радостно горланили переиначенные песни:

«Ах, эти черные глаза
В китайском стиле:

Один туда, другой сюда,
Меня пленили...»

Какая вырисовывается светлая и радостная картина... Но это еще не все удовольствия. Главное-то, как определил еще товарищ Ленин, это кино. Наша детская, незаполненная душа принимала и героических разведчиков, и военные комедии, и блатные песенки из «Путевки в жизнь».

А трофейные картины!? Одни названия толкали все это скорее увидеть, и не по одному разу: «Королевские пираты», «Последний раунд», «Судьба солдата в Америке», «Девушка моей мечты», «Большой вальс», «Джон из Джинки-джаза». А «Тарзан»!!! Вопли его и обезьяны Читы неслись из каждой подворотни.

Мы без конца пересказывали друг другу героические и смешные эпизоды. Как, например, отец Дартаньяна, подсаживая сына на тощую клячу, давал родительские наставления: «Запомни, сын мой, три главных заповеди – завтрак, обед и ужин». И, конечно, мы пели по-русски веселые иностранные песни:

«... Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы своей доверяем судьбе.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит
На честном слове и на одном крыле...»

Как-то, уже во взрослой жизни, мы с коллегой две недели пропадали в маленькой деревушке на берегу озера Севан. Нужно было на месте сделать чертежи временного перехода через небольшую речку. Кроме работы, заняться было совершенно нечем. И вдруг в местном клубе начали крутить старые трофейные картины. Мы смотрели по две штуки в день, и заново пережили все свои детские восторги.

Главное – кино было очень доступным. Билеты покупали самые дешевые, а хроникальные фильмы, вообще, стоили какую-то мелочь.

Вокруг было три документальных кинотеатра: «Хроника» – на Сретенке, «Новости дня» – на Пушкинской площади и «Экспресс» – на углу Цветного бульвара и Самотеки.

Шли прекрасные документальные ленты про пингвинов, белых медведей, семейство львов, про бедного кота Ваську. Появлялись даже иностранные ленты, вроде красиво снятого процесса укладки трубопровода в небольшом поселке Англии. Работа шла непрерывным конвейером от аккуратного снятия земли вместе с травой до бережной укладки той же земли, с той же травой, на то же место. Оказалось, что можно копать быстро и без грязи.

А в двухсерийном фильме «Япония в войнах» очень эффектно была показана защита американского линкора от воздушного нападения. Зенитный огонь был такой плотности, что летящие пули образовали по периметру корабля сплошную видимую на глаз стенку, о которую ударялись и вспыхивали японские камикадзе.

И, конечно, всегда торжественно и только о достижениях рассказывал киножурнал «Новости дня». А однажды мы с другом Генкой увидели в нем себя. Тогда в цирке проходили все финалы первенств СССР по боксу. В эти вечера цирк набивался до отказа. На улице толпу сдерживала конная милиция. Вот «Новости» и показали кусочек бокса и нас с Генкой, радостно орущих, сидя на ступеньках в проходе. Мой старший брат уже служил на Северном флоте и написал из Архангельска, что видел нас в «Новостях» и даже пошел еще раз с друзьями, чтобы показать им братишку.

Бокс тех лет пользовался большой популярностью. Я даже отправился учиться на боксера в спортивный клуб армии. Для первого знакомства тренер разбил нас на пары, одел нам

на руки боксерские перчатки и очень смеялся, глядя, как мы бестолково машем руками. Тем не менее, нос мне слегка приплюснули, а главное нужно было принести от родителей разрешение на занятия боксом. Мама этот бокс тоже видела и была против, встала стеной, как я ни упрасивал и даже плакал.

Но я отвлекся от кино. Самым-то увлекательным в документальных кинотеатрах была мультипликация. Конечно, мультфильмы были очень воспитательные, но сценаристы, художники и замечательные голоса актеров делали их яркими и смешными.

В то время давно уже существовал легендарный мультипликатор Уолт Дисней. На первом Московском международном кинофестивале в 1935 году фильмы Диснея «Три поросенка» и «Микки – дирижер» получили третью премию (первую, разумеется, получили наши фильмы, причем, сразу три: «Чапаев», «Юность Максима» и «Крестьяне»). Но, главное, фильмы Диснея так понравились Сталину, что уже в 1936 году было дано указание создать «Союздетфильм» по образцу студии Disney с технологией конвейерного производства.

А в 1945 году, в период эйфории от радостной встречи советских и американских войск на Эльбе, вышел на наши экраны диснеевский чудо-фильм «Бэмби». Потом дружба с Америкой кончилась, и только уже в качестве военного трофея в нашем прокате демонстрировалась «Белоснежка и семь гномов». Мы смотрели ее по нескольку раз, а песенка гномов стала самым популярным маршем, и мы изощрялись, переводя его на разные лады.

На этом Дисней официально надолго исчез, так же, как и Чарли Чаплин. Но народ у нас находчивый и, если вы где-нибудь замечали объявление, что в таком-то клубе будет лекция на тему вроде: «Кино на службе империализма», можно было смело на нее идти, потому что лекция будет короткой, а отрывки из фильмов большими. А бывало, показывали и целый фильм того же Чаплина или целую серию про Мики-Мауса. (Это, как у христиан, которые беспощадно сжигали книги еретиков, но они почти полностью сохранились в виде цитат в книгах их обличителей).

В 1959 году в Сокольниках открылась Американская выставка: автомобили, бытовая техника, мебель, отделка квартир, разный ширпотреб – все американское, да еще бесплатно наливали пепси колу и раздавали полиэтиленовые пакеты ярких расцветок. Очередь на выставку была громадная, но разные нетерпеливые люди делали дырки в ограждении, и милиция боролась с ними как-то лениво. Так что, если полазить по кустам вдоль сетки, всегда можно было дырку найти. Таким манером я побывал на выставке несколько раз и как-то целый день просидел в павильоне, где на огромных экранах без передышки крутили мультфильмы.

Сюрпризом стал диснеевский фильм по музыкальной сказке Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Когда эту сказку передавали по нашему радио, ведущий в конце добавлял сладким голосом:

– До свиданья, дружок, и если ты был внимателен, то мог услышать, как Утка крикала в животе у Волка.

Как я ни прижимал ухо к нашему хриплому репродуктору, никакого криканья не слышал. А у Диснея Утка, нарисованная пунктиром, меланхолично покрывавая, входила в такие же пунктирные двери Рая.

Похоже, и все наше детство прошло в таком «пунктирном раю». Людская память избирательна и не любит печалиться. Хотя, оглядываясь на то далекое прошлое, можно ведь и горько вздохнуть, и к этому настроению тут же начнут лепиться подробности. Была ведь какая-то обреченная бедность и в быту, и в одежде. У одного из мальчишек нашего двора мать была мастерицей по заплаткам и перелицовкам одежды. У рубашек быстрее всего обтрепывается воротник, вот она его отпарывала и пришивала другой стороной. Все, рубашка опять приличная. И курточку она мне обновила, вывернув ее наизнанку.

Первый дешевенький костюм у меня появился в конце института, когда летом наш курс отправили на целину. Урожая в тот год не было. Мы возили и закапывали в ямы кучи зерна, которые не успели убрать в прошлом урожайном году. За это государство платило нам копейки, на которые еще и кормило нас пшеникой на первое и второе. Заработать хоть что-то можно было только у местных жителей, помогая в их личных хозяйствах. В поисках такой работы мы и мотались по казахстанской степи все наше целинное лето.

И все же нам повезло, нас не коснулись ужасы войны и оккупации, мы оказались слишком незначительными фигурами для внутреннего беспредела. Так что можем сказать совершенно искренне – спасибо судьбе за счастливое детство.

Вот только всех книг я не прочитал, их оказалось слишком много. И писателем не стал. Сначала работа по сооружению мостов, а потом по строительству монолитных высоток оставляла слишком мало свободного времени.

Только в 75 лет я ушел со стройки на отдых. И тут спасибо уже за счастливую старость. Современная техника размножения мыслей позволяет не только писать, но и самому издавать свои книжки. Вот я и написал почти десяток небольших сочинений.

Я держу в руках настоящую книгу, на обложке моя фамилия. Могу дарить книгу родным и друзьям.

Мечты сбываются.

© Лев Золотайкин, 2018

Анна Кукес

Возвращение Генриха Бёлля

21 декабря 2017 Генриху Бёллю исполнилось бы 100 лет. Громких пафосных торжеств по этому поводу не было. Ни в Германии, ни в России. И это, вероятно, закономерно и даже к лучшему: Бёлль не слишком любил публичность, стеснялся своей славы, сопротивлялся званию «совесть нации». Гораздо важнее, что снова ожил интерес к его книгам.

Было время, когда Бёлль был невероятно популярен и в Германии, и в России, когда его издавали огромными тиражами, переводили все, что только выходило из-под его пера.

В конце пятидесятых в нашей стране зачитывались его романом «Бильярд в половине десятого», который поставил Бёлля в ряд ведущих прозаиков ФРГ...

В начале шестидесятых на русский язык был переведен один из самых значительных романов писателя «Глазами клоуна»...

В начале семидесятых к нам пришел «Групповой портрет с дамой». Роман стал мировым бестселлером. В 1972 году Генриху Бёллю была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Писатель не раз приезжал в Советский Союз. Бывал в Москве, Тбилиси, Ленинграде. Дружил с опальными диссидентами Львом Копелевым и Александром Солженицыным, рукописи которого нелегально вывозил на Запад, где они были опубликованы. Бёлля не стало в 1985 году. За минувшие три десятка лет улегся ажиотаж вокруг его фигуры и творчества, изменились читатели и литературная мода. Был период, когда Бёлля в России больше не издавали и мало читали. Но вот сейчас он снова стал интересен, его снова переводят и издают, заново переводят уже переведенные вещи и заново переиздают.

К столетию Бёлля вышел на русском языке том его переписки с Львом Копелевым, опубликованы ранее непереведенные эссе, на «Радио России» готовится к постановке радиопьеса «Монах и разбойник».

Отчего же Бёлль снова так интересен и востребован у нас? Пожалуй, причина, не только в официальной дате – 100-летнем юбилее. Скорее всего, в том, что все творчество Бёлля так или иначе посвящено одной, самой главной проблеме – движению человека от несвободы к свободе. У Бёлля эта тема выстрадана, прожита, пропущена через себя. Несвобода – это уродливые, противоестественные, навязанные человеку убеждения, образ мыслей, миропорядок.

Свобода – естественное состояние человеческой личности, когда человек, не нарушая свободу другого, сохраняет самое ценное, что у него есть, – свой суверенитет и человеческое достоинство.

Движение от несвободы к свободе – это противостояние личности и государства, человека и военной машины, сопротивление давлению социума, официальной идеологии, борьба личности за собственное независимое пространство.

Вы скажете, эти темы актуальны в любое время в любом месте? Наверное, но есть времена и места, когда проблемы, которым посвятил свое творчество и жизнь Генрих Бёлль, обостряются до предела. Не в этом ли причина нового интереса к писателю и, я бы даже сказала, потребности в слове Бёлля?

Я рада, что мне удалось найти в блистательной публицистике Бёлля вещи, которые незнакомы русскоязычному читателю – эссе «Сколько терроризма можно спрятать под одним кусочком сахара», интереснейшее письмо о Чехове, страстную речь на открытии Европейской Коллегии Переводчиков – и сделать их первый перевод на русский язык.

Генрих Бёлль

Сколько терроризма можно спрятать под одним кусочком сахара

В первое утро нового года нам не принесли свежую газету. В сельской местности такое бывает – снег, холод, знаете ли, пресса задерживается. Однако мы имеем обыкновение новости читать, даже после того, как мы их услышали или увидели. Новости, как мне кажется, только тогда и становятся для нас известием, когда мы об этом прочтем, несмотря на все выпуски новостей по радио и на телевидении. Согласитесь, интересно также бывает сравнить, насколько по-разному подается событие в разных средствах массовой информации, насколько одно и то же важно для одних и не значительно для других, сравнить, что именно выносят на первую полосу и какие события считаются достойными крупных заголовков. Одним словом, я настаиваю на этом, газета нам важна и необходима, и даже 138 телевизионных каналов не могут ее ни заменить, ни вытеснить.

Итак, в первый день нового года я совсем упустил из виду, что магазины закрываются рано, а газетные и табачные киоски и вовсе не работают. Так что пришлось мне во время прогулки добыть себе из газетного автомата некую бульварную газетку, одну из тех, что всё больше превращаются, так сказать, в рупор для членов правительства, аппарата канцлера и премьер-министра, а также разных региональных, земельных министерств и партий. На безрыбье, как говорится, и рак рыба, или, как еще говорят, когда прижмет, так черт и мух ста-нет есть, короче, сойдет на самый крайний случай, а это было именно так, поскольку я, скажу откровенно, человек газетозависимый. Иногда, правда, мы забываем, что бывают случаи, когда иная муха и черта может съесть или закусать, или что мухой можно и подавиться.

Дома, в теплой комнате, сидя на краю кровати, я листал сие произведение печатной продукции со всеми его глупостями, статейками ни о чем, и наткнулся, наконец, на крошечное сообщение, от которого совершенно оторопел. Заголовок гласил: «Не бей!» Я было подумал, речь идет о собаках, о детенышах тюленей или о других жертвах жестокого обращения с животными. Но, приглядевшись, прочитал: «Мюнхен. Ежегодно жертвами жестокого обращения становятся 30.000 немецких детей, сотни погибают от побоев. Сообщает Социальная служба помощи детям». Конец цитаты.

Чтобы измерить, насколько редакция этой газеты считает данный материал важным, я, не имея под рукой ни линейки, ни складного метра, извлек из кармана продолговатый кусочек сахара, который стянул недавно в кафе. И что же я вижу: сообщение практически уместилось под моим кусочком сахара. Я обратил внимание на эту крошечную, почти что скрытую заметку благодаря одной фотографии: элегантный, уже немолодой господин и столь же элегантная, но гораздо моложе, дама гуляют по берегу моря. Это фото и относящаяся к нему статья были размером в четырнадцать кусков сахара.

Позже, уже вечером, когда я еще раз вышел прогуляться, я всё-таки обнаружил свежую газету на том самом месте, где ее обычно, по договоренности, оставляет почтальон. Вопреки холодам и снежным заносам, нам всё же доставили свежую прессу. И вот в нашей привычной утренней газете это сообщение размером с сахарный параллелепипед из бульварной газетки превратилось уже в большую статью на видном месте, чуть ли не на первой полосе. Из этой статьи я узнал подробности и нюансы. Здесь было уже много цифр и данных, и не просто, а с уточнениями и расшифровкой. Итак, 30.000 немецких детей ежегодно страдают от жестокого обращения, несколько сотен гибнут от побоев, 57.000 живут в детских домах, здоровью 100.000 детей наносится тяжкий ущерб, более сотни детей в возрасте между 6 и 12 годами кончают жизнь самоубийством, и именно в ФРГ ежегодно гибнут в дорожных авариях или остаются инвалидами больше детей, чем в других странах. Кроме того, 6.000 детей регулярно лечатся от алкогольной зависимости, около полумиллиона детей по всей стране нуждаются в социальной помощи.

Я не поленился – поинтересовался отчетами и пресс-релизами Социальной службы помощи детям, и оказалось, что статья в моей газете ни в чем не солгала. Не стану приводить здесь статистику по состоянию окружающей среды или цитировать отчеты о ненадежных и небезопасных детских площадках. Любой может заказать и получить эти материалы в Федеральной службе социальной помощи детям: Мюнхен 60, Лангвидерхауптштрассе, 4. Филиалы есть в Берлине, Гамбурге, Кёльне и Ольденбурге. Важнейшие сообщения этой службы можно увидеть в вечерних новостях по телевидению.

Итак, граждане Федеративной Республики Германия, запуская в небо новогодние петарды и доставая из холодильников шампанское, имеют возможность и повод поразмыслить о том, как у нас обращаются с детьми.

Мы тоже отмечали новый год, и внукам позволено было пару раз выстрелить хлопушками, а остаток вечера провели все вместе вокруг горящего камина. И вовсе я не имею ничего против элегантных немолодых господ, пусть себе гуляют в свое удовольствие по пляжу с молодыми дамами. Мне хорошо известно, что у писателя и у журналиста разные взгляды на то, что есть важная информация, как эту информацию следует подавать, где и как размещать. Знаю, что редакции завалены информационными сообщениями, которые могут растянуться на километры. Но все же позволю себе вопрос. Ведь есть среди моих сограждан такие, кто читает только вот такие бульварные или проправительственные листки из газетных автоматов. Что и как узнают эти люди о проблеме насилия над детьми, если их взгляд задержится под заголовком «Не бей!»?

«Не бей!» – самое что ни есть рождественская благая весть. Возможно, наткнувшись на это воззвание, особенно накануне Рождества, читатель как раз и подумает о собаках или о детенышах тюленей. И удовлетворенно кивнет миролюбивому возванию «Не бей!». И не узнает, что 30.000 детей страдают от жестокости взрослых, сотнями погибают от побоев или сводят счеты с жизнью. Ведь это всего лишь продолговатый кусочек сахара, который так легко растворяется среди всякого информационного мусора. В конце концов, скажет большинство читателей, речь ведь идет не о преступниках, не о террористах, явных или тайных, с которыми разговор короткий: с чувством выполненного долга врезать такому по морде, и дело с концом. Речь идет о детях, об этих милых, хороших детишках, которых политики так любят гладить по головке у всех на глазах.

Но не будем пороть горячку, не станем закатывать истерики, как какие-нибудь моралисты или идеалисты: стыдно, скажут нам. В этой стране быть моралистом или идеалистом считается позором. Посмотрим на дело с точки зрения рыночной экономики, рассмотрим проблему, как должно, без лишних эмоций, хладнокровно и беспристрастно. Только цифры и факты. До смерти забитые, навсегда искалеченные, самоубийцы – это всё потерянные для государства трудоспособные граждане. И это при том, что у нас и так плохо с рождаемостью. Что произойдет с этой неопределенной массой, размыто именуемой человечеством – пока не об этом, а вот что теряет то, что мы называем рынком? Это вопрос не к моралистам, не к идеалистам, не к идеологам, это вопрос к экономистам! Дети – разве они не будущее наше, наша социальная надежда и опора? Какой калькулятор способен посчитать трем министрам – тем, что отвечают за финансы, за семью и за социальное обеспечение, – скольких здоровых трудоспособных налогоплательщиков лишается страна ежегодно?

Хочу кое-что уточнить. Я между тем разыскал портняжный метр в швейных принадлежностях моей жены. Размер куска сахара – 3 x 1,7 см, то есть его площадь 5,1 см². Сообщение же в газетке имеет размеры 4 x 1,7 см, то есть 6,8 см². Фото элегантной пары на пляже составляет 13,5 – даже не 14! – кусочков сахара, а сообщение в нашей обычной ежедневной газете – 25 кусочков, то есть 170 см². Отчеты Службы помощи детям занимают обычно две машинописные страницы. Теперь, когда мы определились с размерами и масштабами, вернемся к рынку,

к счетам, к цифрам. Если ежегодно у нас 7.000 детей гибнут или остаются инвалидами, то за десять лет это будет 70.000.

Что там ограничение скорости автомобильного движения, какие-то замусоренные детские площадки, грязный воздух, отравленные мегаполисы. Что говорить о детском одиночестве, о брошенных детях, о школьных стрессах, да, в конце концов, о песочницах, в которых собачьего дерьма больше, чем песка! Просто не бейте! Никого, начиная с собак. И прежде всего: не слушайте психологов и психиатров, которые так любят заботиться о благополучии и здоровье немецкой семьи, в особенности родителей. Кто эти люди, которые до смерти забывают своих детей или калечат их навсегда? Кто эти дети, что сводят счеты с жизнью в шесть, восемь или двенадцать лет? Что за террор скрывается за чистенькими занавесками, за ухоженными палисадниками? Ежедневный, как выясняется, террор немцев по отношению к своим детям! Следует ли ужасаться и бить тревогу, когда сталкиваешься с подобными сообщениями, которые на газетной полосе умещаются под кусочком сахара, или это было бы неуместно сильной эмоцией? Что за кошмар скрывается под кусочком сахара среди новогодней мишуры из заголовков вроде «Всего вам самого белоснежного в новом году!» Одна подобная статья, включая фото улыбающейся дамы с фейерверком в руке, – 90 кусочков. Или вот: «3 года без зарплаты: спасение для безработных?» – еще 20 кусочков сахара.

30.000 детей ежегодно – это же почти сотня в день. 100 детских самоубийств – это значит, что через два дня на третий в течение года один ребенок сводит счеты с жизнью. Что же это за терроризм такой, о котором мы ничего не знаем, потому что он спрятан за чистыми гардинами в уважаемых немецких частных домиках и квартирках. Есть ли повод ужасаться?

Я адресую этот вопрос тем, кто настаивает на беспристрастном и холоднокровном отношении ко всему. К тем, кто знает об этой заразе, об этом терроризме, кто даже пылает праведным гневом, зная об этом беде, но норовит спрятать ее под кусочком сахара.

О Чехове¹

Дорогой господин Урбан,

Нам с вами не распутать и не ослабить те странные, судорожные отношения, которые связывают меня с Москвой, я сам же в них и виноват. Я знаю, что как автор я занимаю там определенное место, «захватил» я его уже давно (безо всякого насилия, разумеется. Это произошло вообще без моего участия), и мое влияние там сродни действиям Троянского коня (я этого совсем не хотел, так уж вышло само собой, просто, так сказать, по природе вещей). Несмотря на это мое прочно занятое место, книги мои там, к огромному моему сожалению, стали редкостью. Ужасно жаль еще и потому, что я верю: я принадлежу и к их культуре тоже. По поводу Чехова с радостью напишу. И пусть моя импровизация станет для вас утешением и «официальным отзывом», который можно опубликовать.

Как-то в юности, лет семнадцати—восемнадцати, через каталог всякого старья – на покупку книг в магазине денег у меня не было – я приобрел за пару грошей несколько томиков рассказов Чехова. Они увлекли меня чрезвычайно, но остались для меня тогда непонятными. Тот Чехов показался мне слишком «сухим», холодным и каким-то рутинным. «Открытые» концовки от меня ускользали, казались какими-то размытыми. Но при более позднем прочтении именно в этой размытости я обнаружил силу чеховской прозы. Именно эти размытые концовки навели меня на сравнение: Чехов – великий акварелист среди авторов 19 века. И не случайно, что в его обширнейшем наследии (пожалуй, одном из самых обширных, известных мне) особое, серьезное место отведено сборнику очерков «Остров Сахалин» (здесь у меня возникает музыкальная ассоциация: я сравнил бы Чехова с Шопеном, которого слишком легко причисляют к «несерьезным» композиторам). Когда в более поздние годы я перечитывал

¹ Письмо журналисту Петеру Урбану. Франкфурт 28.12.1983 по поводу 125-летия Чехова.

Чехова, мне стало ясно, что бесчисленные очерки, наброски, образы, описания провинциальных городов, деревенской жизни, как в рассказах «Ионыч», «Скрипка Ротшильда», «Мужики», «На большой дороге», «Дачники», «Кулачье гнездо», очевидно, ближе всего к «истинной России», нежели описания великих проблем, образов, идей, которые везде одинаково свойственны человеку, что на западе, что на востоке, что у славян, что у антиславян – везде они тенденциозны, идеологически насыщены и догматичны, как и положено великим идеям. Вот в связи с этим я воспринимаю Чехова бóльшим реалистом, нежели, скажем, Горького (исходим из того, что о понятии «реализм» мы представление имеем и нам нет надобности неделями спорить о нем). Горький же мне кажется, скорее, «натуралистом». Ну а пьесы Чехова я больше люблю читать, чем смотреть в постановке: при чтении я способен лучше постичь, ухватить это размытое, едва обозначенное, выраженное намеками и сказанное шепотом. Что же до постановок, то всегда приходится опасаться, что режиссер инсценирует самого себя больше, чем Чехова.

У Чехова на всем налет почти метафизической меланхолии, отчего преходящее становится вечным. Что меня восхищает еще – это его невероятное усердие, самосознание медика и хрониста, когда он пишет о Сахалине. «Остров Сахалин» обязательно следует прочитать тем, кто где-либо, когда-либо сталкивался или имеет дело с так называемым исполнением наказаний.

Речь на открытии Европейской Коллегии переводчиков в Штрелене (24 апреля 1985 г.)

Господин бургомистр, господин министр, господин Вормс, господин Топхофен, господин Биркенхауэр, разрешите мне не занимать вашего времени долгим перечислением имен тех, кто, несомненно, заслуживает отдельного упоминания.

Прежде всего, хотел бы выразить свое изумление и восхищение в связи с тем, что здесь был построен и открыт этот дом, и что проект, о котором мы так, между прочим, мимолетно поговорили в Париже десять лет назад, в самом деле состоялся. По-моему, это совершенно уникально.

Позвольте обратить ваше внимание на то, что большие дела не всегда свершаются в больших городах и не обязательно сопровождаются помпой, шумихой и пафосом. По-моему, здесь произошло нечто грандиозное, чего до сих пор, пожалуй, и не случалось. Хотел бы выразить надежду, что многие европейские страны присоединятся к этой инициативе. Поскольку я всегда был того мнения – прошу вас снисходительно отнестись к нему, – что переводчики в истории человечества от начала времен являются пусть не важнее дипломатов, но играют, пожалуй, не меньшую роль.

Ибо литература какой-либо нации, если узнать ее не с одной какой-то стороны, но во всем ее многообразии, дает наилучшее представление о народе, о стране, их обычаях, истории, традициях, их характере. И насколько узко и неполноценно было бы представление наше о других народах, насколько мы погрязли бы в предрассудках – а это ведь порой случается в нашей истории, – если бы иностранную литературу не переводили на немецкий.

Германия – я говорю именно «Германия», не разделяя на ФРГ и ГДР, ибо обе страны имеют равновеликие заслуги в сфере литературного перевода, – так вот, Германия всегда была великой переводческой страной, что имело значение не только для самой Германии, но и для всей Европы. Скандинавская и восточноевропейская литературы по большей части приходили в большой мир через Германию. И теперь основание этой переводческой коллегии я считаю продолжением этой традиции.

Но вот что я хотел бы еще сказать.

Полагаю, что нашей европейской культуры без переводчиков вообще не было бы. Отвлечемся от литературы, вспомним, что началось все с литургии. И между стариком Иеронимом² – я говорю «старик» не пренебрежительно, но с благоговением – и Лютером, двумя создателями языка, лежат почти одиннадцать столетий, в течение которых творили многие, многие неведомые переводчики, и в основном они были монахами.

В английском языке появилось такое выражение, причинившее немалые трудности мне и даме, на которой я женат, потому что мы переводили его дословно и вообще долго бились над его переводом. «Clerical error» не означает «клерикальную ошибку», как мы думали, глупо цепляясь за буквальный перевод. Оно означает «ошибка во время писания» или просто «описка». Когда-то где-то один монах-переписчик допустил ошибку, что при этой трудной работе вполне могло случиться, и так в языке возникло недоразумение и заблуждение. Я воспринимаю этот пример как предостережение от грубой буквальности.

Думаю, наступит день, когда мир постигнет, наконец, всю важность переводческой деятельности, которая обычно остается в тени и происходит за занавесом. Говоря словами Брехта, «сокрыта тьмой, ее не видно».

Хотел бы спросить вас, да и себя заодно: читая переводную литературу, интересуемся ли мы всякий раз, кто перевел то, что мы сейчас читаем, будь то даже детектив, ведь и детективы тоже требуют перевода? А ведь литературный перевод – это трудная, тонкая работа, и один из наших величайших немецких послевоенных авторов Арно Шмидт³ был увлечен этой деятельностью. Допустим даже, что он был вынужден заняться литературным переводом под бременем житейских обстоятельств, но он переводил вдохновенно, основательно, скрупулезно, чутко, с огромной любовью к языку.

Разрешите также напомнить, что кроме высокой, высшей – вроде сочинений Беккета⁴ – и великой литературы, есть литература, которую пренебрежительно именуют легкой, развлекательной, поверхностной. Но ведь ее тоже кто-то переводит. А еще мы никогда не знаем тех, кто переводит фильмы и сценарии.

Знает ли кто-нибудь, кто перевел сериал «Даллас»? Я лично не знаю. Тем не менее, кто-то ведь перевел, но его имени никто нигде не слышал. Или эти популярные передачи о чем-нибудь предельно житейском и банальном... А известно ли вам, уважаемые коллеги, что именно банальности переводить труднее всего. Порой гораздо проще переводить нечто возвышенное, чем банальную повседневную болтовню. Ну, да, вы знаете, разумеется. Так что давайте всё же выясним, кто перевел «Даллас» и прочие сериалы. Это тоже работа переводчика, это тоже творчество, это практика, и жаль, что ее недооценивают.

Мне однажды довелось побывать в шкуре переводчика. Как-то меня попросили отредактировать перевод сценария «Доктора Живаго», почитать, проверить. Это была первая версия сценария. Я тогда только что окончил большой труд и взялся посмотреть этот перевод. Меня познакомили с переводчиком – молодым человеком, чье имя я вскоре забыл. Перевел он великолепно. Но ведь перевод должен был совпадать с оригиналом по части артикуляции, так чтобы актер в кадре артикулировал немецкий текст так же, как английский или русский.

² Софроний Евсевий Иероним (Святой Иероним) – 342 – 419 или 420. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и в католической традиции как святой и один из учителей Церкви. Перевел на латинский язык Ветхий и Новый Заветы. Его перевод Библии – Вульгата – был одиннадцать столетий спустя провозглашен Тридентским собором официальным латинским переводом Священного Писания.

³ Арно Шмидт – 1914 – 1979. Немецкий писатель, литературный переводчик, эссеист и мыслитель. Родился в бедной семье, обучался в основном самостоятельно, был человеком энциклопедических знаний и огромной культуры, литературным экспериментатором, по словам критиков, опередившим свое время.

⁴ Сэмюэл Беккет – 1906—1989. Ирландский писатель, поэт и драматург. Один из основоположников, наряду с Эженом Ионеско, театра абсурда. Стал известен в первую очередь как автор пьесы «В ожидании Годо» (En attendant Godot). Лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 года. Большую часть жизни прожил в Париже, писал на английском и французском языках.

Я нашел и поправил всего несколько мелочей, например, команды кавалерийских офицеров из 1905 года. Я навел справки в библиотеке Бундесвера, мне оттуда специально прислали справочную литературу, чтобы я мог вставить в сценарий этого фильма (на мой взгляд, не слишком удачного) команды немецкой кавалерии 1905 года. Были некоторые неточности и недопонимания в переводе текстов православного богослужения. Это удалось исправить с помощью моего кельнского друга-священника.

Я всё это рассказываю, чтобы мы с вами поняли: существует большое, очень большое, огромное переводческое пространство, которое нам с вами совершенно неизвестно. Даже тем из нас, кто является первым потребителем переводной литературы.

Я постарался охватить в моей речи всё самое важное, что касается переводческой деятельности, все стадии перевода и его уровни. Я попытался показать, что перевод существует на разных уровнях, но он всегда и везде перевод, будь то Беккет, Саррот⁵, или сериал «Даллас» – это всё перевод, и пренебрежение или снобизм здесь неуместны. И именно перевод помогает создать образ и портрет той или иной нации и представляет одну нацию другой.

В широком смысле это миротворчество. Действительно – миротворчество. И этот род деятельности нуждается в поддержке, господа. Поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим здесь политикам и ко всем, кто собрался здесь: настоятельно прошу вас использовать все свои возможности, чтобы поддержать эту уникальную организацию. А она поистине уникальна, по крайней мере в той форме, в какой она возникла и существует теперь. Поверьте, ни одна марка, потраченная или пожертвованная на это дело, не пропадет даром.

Хотел бы еще обратить ваше внимание на один печальный факт: переводчики вынуждены рассчитывать лишь на крайне скупое вознаграждение за свою работу. Так что даже их пребывание здесь должно быть и может быть финансировано кем-то со стороны.

Еще одно замечание хочу сделать – о том, как важно контролировать качество переводов. Зачастую переводчик вынужден работать слишком скоро, в самые сжатые сроки, его подстегивает нужда, и это неизбежно сказывается на качестве перевода. В одной европейской стране, которую я не стану называть, иначе не избежать предрассудков и недоразумений, я слышал удивительную поговорку: «If you doubt – cut it out», то есть «Если столкнулся с трудностью – просто выбрось ее». Хотел бы подчеркнуть, что это поговорка не из английского языка, я просто сформулировал ее по-английски, и в стране, где я ее слышал, говорят не на английском.

Мне остается лишь поблагодарить Вас, господин бургомистр, и всех, кто принимал участие в открытии этого дома, вплоть до тех, кто красил стены и монтировал перила. Убежден, что здесь, в этом маленьком городке, происходит нечто великое. В большом городе этот дом затерялся бы среди прочих организаций и учреждений. Спасибо Вам, господин бургомистр, спасибо округу, общине, земле – всем, кто осуществил этот проект. Большое спасибо.

© Анна Кукес, 2018

⁵ Натали Саррот (урожденная Наталья Ильинична Черняк) – 1900—1999. Французская писательница русского происхождения, родоначальница «антиромана» (или «нового романа»).

Ада Дихтярь

Сколько бы лет ни прошло

Когда в самом конце 1960 года в среде журналистов появилось известие о создании в Целинном крае молодежной газеты, в отдел печати Центрального комитета комсомола со всех концов страны полетели письма. На столе инструктора отдела Валентина Осипова, утвержденного в должности главного редактора будущей газеты, громоздились десятки пухлых конвертов. Пухлых потому, что кроме заявлений и кратких рассказов о себе, в них лежали вырезки из публикаций в разных изданиях периодики. Скорее всего, именно они подсказывали Валентину, кого приглашать в Москву на беседу по поводу будущей работы на целине.

Так был вызван из Саратова, где мы жили, мой муж Адольф Дихтярь, талантливый парень, достаточно заметный журналист и поэт. Он был чуть старше меня и уже несколько лет успешно работал в областной молодёжке. Я же только-только окончила тот же, что и он, филфак Саратовского университета, но тощую папочку своих публикаций на всякий случай захватила.

Посмотрев на меня с высоты своего роста, будущий редактор, обаятельный, мгновенно располагающий к себе человек, спросил:

– А вас мама отпустит?

Да, мы действительно были очень молоды. Равно как и наш главный. И даже те немногие, что оказались чуть старше, были переполнены тем же чувством радости от ощущения новой, необычной жизни. Не просто интересной, но ставшей вдруг очень значительной. А как ещё надо было воспринимать эту жизнь, если все радиоточки страны с шести утра до двенадцати ночи говорили о целине. О будущем хлебе. О первопроходцах, что в буранных степях вбивали в мерзлую землю первые колышки завтрашних агрогородов, а по весне, не щадя себя и технику, выворачивали, – поднимали, – сросшиеся с дерниной пласты целины и залежи. Мы чувствовали свое полное родство с этими людьми. И для них, и для нас мощным ветром под крылья было всенародное признание нашего дела.

Вернулась в прошлое и невольно заговорила давними словами, в ту пору, может быть, и надоевшими от частого употребления. Страхнула с них пыль, и они снова засверкали своей ностальгической красотой.

Помните, ребята?
Это было так.
Город заблудился
В буранной мгле.
Подложив под голову
Костлявый кулак,
Секретарь крайкома
Спит на столе.
Освещает лампочка
Бивачный уют.
Возле двери
Чайник
С остывшим кипятком.
Скоро телефоны
Зорю пробьют.

Рано просыпается
Целинный крайком.
Нет ещё печатей.
Вывески нет.
Но в сердца впечатаны
Заботы страны.
И не будет скидки
На молодость лет,
Потому что трудно
Стране без целины.

Так писал Дихтярь, одним из первых прибывший в редакцию еще не родившейся газеты... Искренность пронизывала газетные строки наших стихов и статей, а романтика участия в главном на ту пору общенародном деле напоминала неуёмный энтузиазм наших ровесников из двадцатых и тридцатых годов.

Да что говорить о нас, наивных и молодых, когда знаменитый поэт Ярослав Смеляков, судьба которого с её штрафбатами и ГУЛАгами стояла поперёк какой бы то ни было романтики, даже он увидел в целинной атмосфере той поры романтические черты своей молодости.

И ветер первых пятилеток,
Полузабытый ветер тот,
Всю ночь, качая тени веток,
По дальним улицам метет.

Больше того, много лет спустя, вдова Смелякова передаст Валентину Осипову, в то время уже главному редактору издательства «Молодая гвардия», неоконченные стихи Ярослава Васильевича... о нас.

Не из нужды, а вроде бы с охотой
Добросердечной маленькой толпой
Меня встречали возле самолёта
Ребята из газеты краевой.

Я на земле ночной аэродрома
Средь этих незнакомых мне людей
Почувствовал себя не то, чтоб дома,
Но всё-таки спокойней и верней.

Хоть в темноте той станции воздушной,
Заезжий гость проспектов и столиц,
Я различал лишь голоса и души,
Не различая обликов и лиц.

А через час – как было кстати это! —
Когда я пил гостиничный чаёк,
Едва ль не вся редакция газеты
Ввалилась в мой отдельный номерок.

Я не раз читала эти строфы и следующие за ними обрывки строк и всегда удивлялась пронизательности поэта, который с первых минут разглядел в наших ребятах открытость, добросердечность, дружелюбность.

Мелькнут в набросках Смелякова и такие строки:

Не по приказу, а по доброй воле
Из всех краев приехали сюда...

Если пожилой поэт почувствовал рядом с нами, «не то, чтоб дома, но все-таки спокойней и верней», то представьте, как спокойней и верней чувствовали себя рядом с друзьями мы сами. Как помогло это нам, оставившим родительские дома, городские квартиры, налаженный быт, адаптироваться к превратностям новой жизни. Да мы и не замечали никаких превратностей. Нам слишком комфортно было в общении друг с другом. А работа была слишком интересной, чтобы казаться трудной.

«Помню город, считавшийся краевым центром, по которому месяцев шесть в году можно было передвигаться лишь в броднях, – подкрепляю я свои слова коротким отрывком из книги нашего молодоцелинника Юрия Калешука, – ну и что? Была работа, прекрасные люди рядом, а что нет постоянного дома или угла – какая малость, песчинка, – в этом ли дело? Я привык жить, как жили мои сверстники, не обращая внимания на то, что в комнате ещё трое, и один спит, тяжело вскрикивая во сне, другой брэнчит на гитаре, третий целует девушку, а перед тобой белый лист бумаги, и это целый мир, который дано открыть только тебе».

Именно потому так творчески гармонично и так душевно комфортно складывалась наша редакционная жизнь, что у неё был крепкий стержень – любимая работа.

Мы жили в радости от своих командировок, от встреч с целинниками, для которых не жалели ни слов, ни чувств.

Мы восхищались трактористами, которые, увидев бушующий пожаром ковыль, кинулись пропахивать борозду и отрезать огонь от пшеничного поля, но только ценой жизни спасли созревающий хлеб. Стихами и прозой наша газета рассказывала о легендарном прорабе Василии Рагузове, который, пытаясь спасти шоферов, застрявших с машинами в снежном заносе, пошёл пешком за подмогой и замерз в метельной круговерти. Замерз на сопке, которая теперь носит его имя.

Человек настоящей, густой и добротной закваски,
Он учил нас терпеть, нетерпенье зажав в кулаки,
И усвоили мы, что гвоздями сбиваются сказки,
Что строгаются сказки из самой обычной доски.

Мы смотрели на всё широко открытыми глазами, но по своему молодому недомыслию и неуёмному романтизму не сразу разглядели, что целина поднималась за счет нескрываемой эксплуатации энтузиазма людей. Мы не могли подняться до обобщений, но со страстью рвались костерить и бичевать всё, что, по нашему разумению, мешало целине. И это на земле, к которой было приковано внимание власти и народа, социалистического зарубежья и дальнего Запада и за которой пристально следил Сам.

«Самим» в ту пору был Никита Сергеевич Хрущёв, первый секретарь Центрального комитета партии, председатель Совета министров СССР. 13 марта 1961 года после двухдневной поездки по совхозам он приехал в Акмолинск, (который тут же переименует в Целиноград), на совещание передовиков сельского хозяйства края. К этому событию и был приурочен выход первого номера газеты «Молодой целинник».

Новенькие, еще теплые от перегревшихся печатных станков пачки газет, Валентин Осипов привёз на заседание. Секретарь ЦК комсомола наметанным глазом идеологического цензора окинул первую полосу, вторую. Остановился на третьей и недобро проговорил:

– Мы тебя зачем сюда послали – настроение Хрущёву портить?! В день его приезда! В день открытия совещания!

На третьей полосе газеты была напечатана статья «На перекладных далеко не уедешь». Броский заголовок говорил о явно критическом характере материала. Тема – самая актуальная: как выкладываются ради будущего хлеба механизаторы и как безобразно, не по-человечески организованы их жизнь и быт.

В зале появился Алексей Аджубей – редактор «Известий», с деятельности которого началась «оттепель» в советской журналистике. В состоянии, которое не трудно представить, Осипов подошёл к своему высокому коллеге.

– Он помнил меня как инструктора отдела печати ЦК ВЛКСМ, – рассказывал об этой истории Валентин Осипович. – Спросил, с чего-де мрачен. Я протянул ему газету. Стремительно одолел статью и весело – каково мне! – заявил: «Будь внимателен при речи Никиты Сергеевича... И вдруг слышу, как сам Хрущёв, среди иного и прочего четырьмя абзацами – с критикой того, о чем и автор статьи Дихтярь. Это, оказывается, Аджубей успел вставку вписать, когда дошлифовывали речь.

В перерыве к Осипову подошёл утренний рецензент:

– Поздравляю! Не обижайся. Я ведь так – проверял на зрелость.

Может быть, наш главный редактор и его заместитель Павел Петрович Капитонов рассматривали это событие, как своеобразное разрешение на критику, мы же – как приказ критиковать. Впрочем, «разрешение», «приказ» – это была головная боль начальников. Наши же головы кружила вольница оттепели. Мы были уверены, что это там, в центре, в больших городах начинает крепко подмораживать, а у нас «погода» что надо.

Что там разоблачить круговую поруку торговых работников! Что там вскрыть липовые отчёты незадачливых комсомольских секретарей! Мы замахнулись на всю краевую верхушку. Вот эта история в подробностях.

В двухместном номере гостиницы «Ишим» встретились и разговорились артист Московского театра оперетты Аникеев (тогда на целину приезжало много деятелей культуры) и бухгалтер строительного отдела краевого исполкома (тогда многие специалисты в ожидании квартир жили в гостинице). Бухгалтер рассказал своему собеседнику, что в девятнадцати километрах от Целинограда, в голой степи, находится редкостной красоты рукотворный оазис. Его создавал человек, не то эсер, не то кадет, сосланный в эти края еще при царе и обосновавшийся здесь до конца жизни. Из разных городов и стран он выписывал семена кустарников и деревьев, которые могли бы пережить тридцатиградусные зимы, а летом не погибнуть от засухи и знойных ветров. Возникшими здесь парками, аллеями и прудами распорядились наилучшим образом – создали республиканский пионерский лагерь, своеобразный казахстанский Артек.

Новоселам самых больших в крае кабинетов приглянулось зеленое местечко. Лагерный сезон окончился, дети разъехались, началась стройка. В бухгалтерских сметах она не значилась, фонды на неё не выделялись, стройматериалы без стеснения увозили прямо с объектов, где сооружалось жильё для целинников.

Узнав обо всём этом, возмущенный артист на следующее же утро пришел к главному редактору «Молодого целинника». Наталья Ряднова, заведующая отделом школ, тут же выехала на место.

– Хорошо помню: мою статью поставили на 21е сентября, – это был шестьдесят первый год, – вспоминала Наташа на одной из наших встреч через много лет. – Я как раз дежурила по газете. Готовые к печати полосы повезли на визу главному комсомольскому начальнику.

Своё мнение о статье он выразил... густым матом. Тут же, – а была глубокая ночь, – позвонил Осипову: «Вы что себе позволяете!..»

Страстное, воинствующее несогласие со всяким непотребством, стремление вмешаться, побороть, – это сформировалось в те далекие годы, стало профессиональной чертой, а то и особенностью характера

Отчаянные романтики, мы часто писали об очень неромантичных вещах, внедряясь в самые горькие проблемы целинного хозяйствования. А хозяйствование это страдало двумя неизлечимыми болезнями – хищническим отношением к земле и варварским отношением к технике. Как было заведено в ту пору, по результатам наших выступлений принимались меры, многое решалось на местах. Славно работала в ту пору печать.

Другая сторона равнодушия – это уважение и сердечная расположенность к своим героям. К тем, о ком пишешь. С кем встречаешься, беседуешь. Или о ком узнаешь из воспоминаний и книг.

В конце 1964 года в Целинограде появилась долгожданная книга «В редакцию не вернулся...» о журналистах-фронтовиках, не пришедших с войны. Я залпом проглотила её и, потрясённая, за ночь написала о том, что пережила. В начале следующего года получаю заказную бандероль: «Редакция газеты „Молодой целинник“. Аде Дихтярь. Лично». Ниже: «От К. М. Симонова» и полный обратный адрес. В первый момент подумала, что это кто-то из наших ребят подшутил над моим пристрастием к военной теме, но всё равно заволновалась и торопливо вскрыла конверт. В нем – тот же том «В редакцию не вернулся». На титульном листе тем же, что и на конверте, почерком написано: «Аде Дихтярь – с признательностью за сердечное слово о моих товарищах, самое сердечное из всех, что я прочёл». И знаменитая размашистая подпись: «Константин Симонов».

Не укоряйте меня за нескромность. Во-первых, этот пример рассказывает о Симонове гораздо больше, чем обо мне, а во-вторых, его оценка, его фраза о сердечном слове, сердечном отношении, применима ко многим-многим работам моих товарищей.

Как-то Нина Колбаева, – её темой была культура, – разбирая на летучке чей-то очерк, справедливо заметила: «Каждый из нас проживает не одну жизнь, а много: жизнь наших героев». Оттого и сердце можно было услышать в наших строках.

Рано или поздно, нас после скитаний по съемным углам, переполненным общагам расселили по квартирам, где каждая семья получила по комнате в коммуналке. Впрочем, квартира наша, как и квартиры коллег, была продолжением нашей редакционной жизни, только более весёлой и озорной. Те же споры, та же критика. Те же редкие, ублажающие душу поощрительные слова. И общий обеденный стол.

Жить «единым человеческим общежитием» – это про всех нас. Рядом с нашей комнатой – дверь в дверь – два талантливейших парня. Вся квартира увешена лозунгами в духе времени, вроде: «Куба – да! Янки – нет! Уходя, гасите свет». На входной двери, снаружи – объявление: «Новомир Лимонов – журналист-фельетонист. Звонить 1 раз. Александр Фридман – журналист-фельетонист – звонить 2 раза». Далее, что-то смешное про меня, и последняя строчка: «Адольф Дихтярь – писатель-профессионал. Не звонить!»

Объявление висело не долго. Его сняли бдительные люди в штатском. Позже человек не в штатском, а в милицейской форме попросил у меня ключ от квартиры, якобы, понаблюдать с нашего последнего пятого этажа за центральной площадью, которая хорошо была видна из одного окна, и за коридором обкома партии, который, действительно, отлично просматривался из окна в другом углу комнаты. После этого визита у нас в доме не осталось ни одного

«самиздатовского» сочинения. Исчезли даже маленькие, в половину тетрадного листа, машинописные «книжечки» со стихами Николая Гумилева...

Редакционная жизнь шла своим чередом. Изобретательности, интересным находкам, неожиданным сюжетам, остроумным решениям не было конца.

Достаточно вспомнить лихой вояж Юры Чернова и его закадычного друга, замечательного журналиста Петра Скобёлкина на мотоцикле по маршруту Целиноград-Брест с репортажами из лежащих на пути городов и весей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.